



ФОРУМ: ОПАСНОСТИ ПОЛЯ: ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Аннотация: В антропологии много говорят о рисках полевой работы для информантов, но уязвимость самого исследователя в поле обычно остается темой кулуарных бесед и профессионального фольклора. Содержание категорий опасности и риска менялось со временем. Поначалу речь шла о физическом выживании в незнакомой среде. С приходом в дисциплину женщин стал актуален риск сексуальных домогательств и насилия. В 1980-е гг. появляются новые риски, связанные с приходом антропологов в «статусные» поля, где исследуемые обладают куда большими ресурсами и возможностями, чем исследователи, и могут в случае чего обратиться в суд. Проблемой для университетской администрации может оказаться и работа в средах и сообществах, не подчиняющихся общепринятым правовым нормам или представляющих собой «серые зоны». Наконец, вызовом для исследователей оказывается и обретение их собеседниками своего голоса. В этом выпуске «Форума» участники размышляют не только о будущем полевой антропологии в обществе гипертрофированной безопасности, но и о разнообразных аспектах полевых рисков для антрополога в современном мире.

Ключевые слова: полевая работа, опасности, риски.

Для ссылок: Форум: Опасности поля: перспектива исследователя // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 11–88.

doi: 10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/048/forum.pdf>

FORUM: THE DANGERS OF THE FIELD: THE RESEARCHER'S PERSPECTIVE

Abstract: This time, the “Forum” (a written round table) is dedicated to the topic of risks and dangers. In anthropology, discussions of danger in fieldwork are widespread, but the emphasis is almost always on risks to informants. The vulnerability of researchers themselves tends to be discussed solely in private. However, risks exist, and what is more, their nature and categories have been subject to evolution over time. In anthropology’s early years, the key issue was physical survival in an unfamiliar environment. Once women began entering the profession, sexual harassment and violence became recognized threats (these risks also applied to men, of course; the point was, though, that they were far less often openly recognized as such). In the 1980s, new risks to the anthropologist began to emerge that were related to fieldwork in “high status” situations, where the objects of research enjoy access to far superior resources and opportunities than the researchers, and may have recourse to litigation if they object to the research findings. A further problem for university administrations can be work in milieux and communities that do not conform to accepted legal norms or represent “grey areas” relative to these. Finally, a challenge to researchers is also presented by the fact that their informants now also have a voice, as a result of the ever more collaborative and dialogic nature of anthropology as a discipline. The discussion initiated by the Editorial Board is intended not only to address the issues raised for field anthropology in a society where elevated safety concerns are ever present, but also to consider different aspects of risk in anthropological fieldwork of the present day.

Keywords: fieldwork, dangers, risks.

To cite: ‘Forum: Opasnosti polya: perspektiva issledovatelya’ [Forum: The Dangers of the Field: The Researcher’s Perspective], *Antropologicheskij forum*, 2021, no. 48, pp. 11–88.

doi: 10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/048/forum.pdf>

**В форуме «Опасности поля:
перспектива исследователя»
приняли участие:**

Андрей Григорьевич Возьянов (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва / Минская урбанистическая платформа, Минск, Беларусь)

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова (Калмыцкий научный Центр РАН, Элиста, Россия)

Штефан Дудек (Stephan Dudeck) (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия / Университет Лапландии, Рованиemi, Финляндия)

Александра Константиновна Касаткина (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, Россия)

Ирина Владимировна Козлова (Школа актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия)

Елена Владимировна Лярская (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Мария Михайловна Пироговская (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Дарья Скибо (Европейский университет в Санкт-Петербурге / Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург, Россия / Исследовательский центр Восточной Европы при Бременском университете, Бремен, Германия)

Мария Владимировна Станюкович (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, Россия)

Глеб Дмитриевич Стукалин (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, Россия)

Форум

Опасности поля: перспектива исследователя

В антропологии много говорят о рисках полевой работы для информантов, но уязвимость самого исследователя в поле обычно остается темой кулуарных бесед и профессионального фольклора. Содержание категорий опасности и риска менялось со временем. Поначалу речь шла о физическом выживании в незнакомой среде. С приходом в дисциплину женщин стал актуален риск сексуальных домогательств и насилия. В 1980-е гг. появляются новые риски, связанные с приходом антропологов в «статусные» поля, где исследуемые обладают куда большими ресурсами и возможностями, чем исследователи, и могут в случае чего обратиться в суд. Проблемой для университетской администрации может оказаться и работа в средах и сообществах, не подчиняющихся общепринятым правовым нормам или представляющих собой «серые зоны». Наконец, вызовом для исследователей оказывается и обретение их собеседниками своего голоса. В этом выпуске «Форума» участники размышляют не только о будущем полевой антропологии в обществе гипертрофированной безопасности, но и о разнообразных аспектах полевых рисков для антрополога в современном мире.

Ключевые слова: полевая работа, опасности, риски.

В антропологии много говорят о рисках, которые полевая работа несет для информантов, но уязвимость самого исследователя в поле обычно остается темой кулуарных бесед и профессионального фольклора. Содержание категорий опасности и риска менялось со временем. Поначалу речь шла о физическом выживании в незнакомой среде, и антропологу, отправляющемуся в экспедицию, советовали брать с собой оружие. С приходом в дисциплину женщин стал актуален риск сексуальных домогательств и насилия (это не значит, что исследователей-мужчин подобный риск вовсе миновал; скорее, они в гораздо меньшей степени считали возможным об этом рассказывать)¹. Но как бы то ни было, долгое время опасности и трудности жизни в поле считались неотъемлемой частью профессии, а их успешное преодоление — признаком профессионализма. Антрополог классического периода — уникальный специалист по «своей» культуре, который получил познания методом проб и ошибок, в том числе очень болезненных; более того, этот болезненный опыт осмыслялся как своего рода «естественный экспе-

¹ Гибель Генриетты Шмерлер, ученицы Рут Бенедикт, от рук ее информанта произвела тяжелое впечатление на американское антропологическое сообщество в 1931 г. Тем не менее критическое обсуждение обстоятельств ее смерти началось лишь полвека спустя, см.: [Tappan 1986].

римент», в ходе которого этнографическая реальность полнее раскрывалась перед чужаком [Daniels 1983]¹.

В западной антропологии рефлексивный поворот 1980-х был попыткой вернуть антропологу возможность быть не только профессионалом, но и живым человеком с правом как на гендер и эмоции, так и на ошибки [Gurney 1985; Kulick, Willson 1995]. Примерно в это же время появляются новые риски, связанные с приходом антропологов в «статусные» поля, где исследуемые обладают куда большими ресурсами и возможностями, чем исследователи, и могут в случае чего обратиться в суд (с чем сталкивались уже социологи второй чикагской школы).

В последние десятилетия в западных обществах распространилась новая «культура безопасности», не только физической, но и психологической. Эта культура вкупе с превращением университета в место оказания услуг ведет к перераспределению ответственности между университетом и исследователями. Сейчас этот процесс начался и в России, хотя в социальных науках проблемы безопасности пока почти не обсуждаются, а российские исследовательские и учебные коллективы руководствуются не столько специальными «этическими кодексами», сколько — по старинке — соображениями «здорового смысла»².

Американские университеты пытаются защитить и себя, и своих сотрудников от возможных сложностей, вводя вдобавок к профессиональным кодексам [AAA Statement on Ethics 2012] особые комитеты (*review boards, ethics committees*), выдающие разрешение на исследование, и отказываясь субсидировать работу в тех полях, где непредсказуемость, в принципе присутствующая любому взаимодействию, слишком высока. Тем самым само право исследователя на риск ставится под вопрос [Phadke 2005]. О том, что новая культура безопасности пришла в антропологическую дисциплину, сигнализируют истории молодых антропологов, которые, несмотря на полученную подготовку, пережили потрясение, столкнувшись с опасностями, и обвинили своих менторов в игнорировании их негативного опыта и недостаточном внимании к непредсказуемости поля [Huang 2016; Evans 2017; Schneider 2020].

Другой проблемой для университетской администрации может оказываться работа в средах и сообществах, не подчиняющихся общепринятым правовым нормам или представляющих собой «серые зоны». В частности, те компромиссы между по-

¹ См. также предыдущие дискуссии об отношениях исследователя и объекта исследования [Форум 2005] и об этических проблемах полевых исследований [Форум 2006].

² Кодекс американской антропологической ассоциации был опубликован в «Журнале социологии и социальной антропологии» два десятилетия назад [Кодекс этики 2000].

зияциями исследователя, гражданина и представителя той или иной социальной группы, на которые раньше смотрели сквозь пальцы [White 1943; Беккер 2018 (1963)], сейчас могут привлечь внимание правоохранительных органов и вызвать резкую критику со стороны профессионального сообщества, как это произошло с книгой Элис Гоффман “On the Run” [Goffman 2014]¹. В таких случаях западные университеты, рискуя остатками своей автономии, подчас готовы выдать исследователя и его полевые данные полиции, чтобы избежать неприятностей со служителями закона (см. обсуждение этого аспекта защиты полевых записей в [Khan 2019]). В России о таких случаях пока неизвестно, хотя российские исследователи тоже работают в сообществах, к которым правоохранительные органы испытывают пристальный интерес.

Наконец, вызовом для исследователей оказывается и обретение их собеседниками своего голоса — результат превращения антропологии во все более коллаборативную и диалогичную дисциплину. Следствием может стать не только возмущенный отказ в доступе [Schramm 2005], но и отложенные репутационные риски. В частности, люди, давшие свое информированное согласие на интервью, могут задним числом публично отозвать его, ознакомившись с результатами (статьей, монографией, фильмом), которые им не понравились.

В этом выпуске «Форума» мы предлагаем поразмышлять не только о будущем полевой антропологии в обществе гипертрофированной безопасности, но и о разнообразных аспектах полевых рисков для антрополога в современном мире.

- 1** *С какими рисками вам приходилось сталкиваться в полевой работе? Как вы решали для себя вопрос, что стоит риска, а что нет? Бывали ли случаи, когда вы отказывались от полевой работы, взвесив опасность?*
- 2** *Обсуждаете ли вы риски и опасности поля со своими учениками? Должен ли университет готовить студента-антрополога к полевым опасностям? Если да, то каким образом? Несут ли исследовательские организации ответственность за риски, которым подвергаются их сотрудники в поле?*
- 3** *Случалось ли вам иметь дело с моральными дилеммами в поле (алкоголь, секс, насилие, правонарушения и т.д.) и после него (интерес государственных институтов или корпораций к вашим данным, критика со стороны информантов)? Как вы их для себя решали?*

¹ Публицистический очерк см. в [Lewis-Kraus 2016]; обсуждение в профессиональном сообществе велось, в частности, в рамках панельной дискуссии, организованной на конференции Северо-Западного университета «Допрашивая этнографию» [Panel Discussion: Author Meets Critics 2018].

4

Имеет ли исследователь право на страх и другие негативные эмоции по отношению к своему полю и информантам? Совместимы ли такие переживания с научным познанием?

Библиография

- Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / Пер. с англ. Н. Фархатдинов; ред. А. Корбут. М.: Элементарные формы, 2018. 271 с.
- Кодекс этики Американской антропологической ассоциации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. Вып. 1. С. 173–180.
- Форум: Исследователь и объект исследования // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 8–134.
- Форум: Этические проблемы полевых исследований // Антропологический форум. 2006. № 5. С. 6–166.
- AAA Statement on Ethics 2012. <<https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber=22869&navItemNumber=652>>.
- Daniels A.K. Self-Deception and Self-Discovery in Fieldwork // *Qualitative Sociology*. 1983. Vol. 6. No. 3. P. 195–214. doi: 10.1007/BF00987446.
- Evans A. The Ethnographer's Body Is Gendered // *The New Ethnographer*. 2017, Feb. 14. <<https://www.thenewethnographer.org/the-new-ethnographer/2017/02/14/gendered-bodies-2>>.
- Goffman A. *On the Run: Fugitive Life in an American City*. Chicago: University of Chicago Press, 2014. 288 p.
- Gurney J.N. "Not One of the Guys": The Female Researcher in a Male-Dominated Setting // *Qualitative Sociology*. 1985. Vol. 8. No. 1. P. 42–62. doi: 10.1007/BF00987013.
- Huang M. Vulnerable Observers: Notes on Fieldwork and Rape. What Does It Mean to Produce Knowledge through an Experience That Includes Trauma? // *The Chronicle of Higher Education*. 2016, Oct. 12. <<https://www.chronicle.com/article/vulnerable-observers-notes-on-fieldwork-and-rape/>>.
- Khan S. The Subpoena of Ethnographic Data // *Sociological Forum*. 2019. Vol. 34. No. 1. P. 253–263. doi: 10.1111/socf.12493.
- Kulick D., Willson M. (eds.). *Taboo: Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork*. L.: Routledge, 1995. 300 p.
- Lewis-Kraus G. The Trials of Alice Goffman // *The New York Times Magazine*. 2016, Jan. 12. <<https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html>>.
- Panel Discussion: Author Meets Critics // *Northwestern Journal of Law and Social Policy*. 2018. Vol. 13. No. 3: Northwestern Law Interrogating Ethnography Conference. P. 107–137.
- Phadke S. "You Can Be Lonely in a Crowd": The Production of Safety in Mumbai // *Indian Journal of Gender Studies*. 2005. Vol. 12. No. 1. P. 41–62. doi: 10.1177/097152150401200102.

- Schneider L.T.* Sexual Violence during Research: How the Unpredictability of Fieldwork and the Right to Risk Collide with Academic Bureaucracy and Expectations // *Critique of Anthropology*. 2020. Vol. 40. No. 2. P. 173–193. doi: 10.1177/0308275X20917272.
- Schramm K.* “You Have Your Own History. Keep Your Hands Off Ours!” On Being Rejected in the Field // *Social Anthropology*. 2005. Vol. 13. No. 2. P. 171–183. doi: 10.1111/j.1469-8676.2005.tb00005.x.
- Tannen D.* “Blame the Victim?” // *Anthropology Newsletter*. 1986. Vol. 27. No. 8. P. 2–2. doi: 10.1111/an.1986.27.8.2.3.
- White W.F.* *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*. Chicago: University of Chicago Press, 1943. XXII+284 p.

АНДРЕЙ ВОЗЬЯНОВ

1

Наиболее ощутимые риски в моей полевой практике были связаны с крупными политическими конфликтами на постсоветских территориях. Первый — начавшееся в 2014 г. вооруженное противостояние в Донецкой области Украины: там я в 2011–2013 гг. проводил полевое исследование мобильности пожилых горожан и низового транспортного активизма. Тогда я полностью отказался от поездок в зону конфликта сразу по нескольким причинам: конфликт привел к многочисленным жертвам среди мирного населения; мои информанты оказались по разные стороны этого конфликта; на тот момент я имел российское гражданство, и въезд на территорию Украины для меня был затруднителен; наконец, моя институция — Регенсбургский университет — попросила меня не ездить в небезопасное поле. В 2018 г. я защитил диссертацию, а в начале 2019 г., воспользовавшись происхождением, перешел из российского гражданства в белорусское, начав снова регулярно ездить в Украину.

Андрей Григорьевич Возьянов
Европейский гуманитарный
университет, Вильнюс, Литва /
Минская урбанистическая
платформа, Минск,
Беларусь
avozyanov@gmail.com

Второй раз вопрос о безопасности поля ироничным образом возник у меня в связи с тем, что я гражданин Беларуси. С начала марта 2020 г. я начал заниматься исследованиями

заботы о себе в белорусском обществе, с мая записался в инициативную группу одного из «альтернативных» (Александру Лукашенко) кандидатов в президенты республики и собирал подписи за него, а с августа, как и многие, оказался вовлечен в протестные активности. Достаточно рискованной ситуация стала выглядеть в день выборов, когда против безоружных протестующих были применены светошумовые гранаты и пули. Пытки и репрессии в последующие дни лишь укрепили уверенность, что работать этнографически в Беларуси дальше небезопасно. Ситуацию осложняло и то, что я работник НГО, что в Беларуси зачастую служит причиной дополнительных подозрений и репрессий. Многим рабочим коллективам пришлось продумывать свою безопасность и делиться на группы в соответствии со степенью риска. Мы с одной из моих коллег, оценив собственные риски как примерно равные, отобрали индикаторы, по которым определяем для себя необходимость покинуть Беларусь в наших конкретных случаях. Среди этих индикаторов — заведение уголовных дел на наших коллег по учебным заведениям или организациям.

Одновременно с внешними факторами ограниченность личного физического и эмоционального ресурса ставит вопросы о приоритетах: могу и считаю ли допустимым я анализировать тексты и просить людей об интервью, в то время как множество моих знакомых выходит на акции протеста? Не является ли исследование непозволительной роскошью в данной ситуации?

2

Роль институции в определении полевой стратегии важна сразу в нескольких смыслах. С одной стороны, имеет значение то, насколько в принципе коллектив проговаривает свою позицию / принципы по вопросам безопасности. Донбасс непосредственно фигурировал в моем диссертационном проекте в 2014 г., и обойти стороной вопрос о моих поездках туда не представлялось возможным. Отмечу, что требование институции в каком-то смысле избавило меня от необходимости принимать решение самостоятельно. Более того, я воспринял такое требование как проявление более высокого уровня заботы о своих сотрудниках в европейских исследовательских институтах по сравнению с российскими, тем более что мне известно как минимум о двух случаях в России, когда антропологам в разгар конфликта давался совет ехать на Донбасс. Мне же довелось тогда освоить удаленную этнографию.

С другой стороны, сама институциональная позиция, в частности должность, антрополога накладывает отпечаток на то, что он(а) может себе позволить и как будет распределяться ответственность за это. Так, в месте своей сегодняшней работы (в Литве) я числюсь «лектором», что оставляет полевую прак-

тику за скобками моего контракта (хотя интересным образом не избавляет от необходимости отчитываться о публикационной деятельности).

При этом физическое (не)нахождение в Беларуси по состоянию на конец 2020 г. безусловно порождает целый ряд вопросов — эпистемических (как изучать заботу о теле на данной территории, физически там не находясь, не соприутствуя с людьми, чьи практики изучаются?), политико-дискурсивных (что может быть сказано или что позволяют себе сказать из-за пределов Беларуси про белорусов и белорусок сейчас?), связанных с профессиональной солидарностью (насколько мы готовы, будучи в отъезде, принимать предложения о публикации на «белорусские темы», пока наши коллеги в Беларуси отдают все свое время невольному активизму?).

Преподавая курсы по методам исследования на программе «Медиа и коммуникация», я всегда посвящаю отдельное время обсуждению полевой этики, но на тему безопасности самих исследователей остается меньше времени, поскольку данные для студенческих проектов в основном получаются онлайн. В такой ситуации они часто сами остаются «невидимыми» для поля, и основные тревоги связаны с безопасностью тех, кого они цитируют. Весной 2021 г. будет особенно сложно: большинство моих студентов из Беларуси, где в 2020 г. произошел правовой дефолт, перестали действовать нормы законов. Безусловно, мне и преподающим коллегам придется обращать внимание студентов на те ограничения, которые накладывает ситуация на нашу исследовательскую активность. Нам предстоит найти сложный баланс между живым интересом студенчества к белорусской эмпирике (впервые за несколько лет практически все они хотят связывать темы своих работ именно с Беларусью) и сложностью этого поля в контексте массовых репрессий и беззакония.

Во втором месте моего преподавания, в Минске, ситуация еще более проблемная. По задумке авторов программы «Критическая урбанистика» студенты проводят полевую работу и на ее основе организуют мероприятие с участием местных сообществ. Однако в условиях, когда сотрудники ОМОНа регулярно задерживают людей на дворовых чаепитиях и детских праздниках, мы с коллегой приняли решение отказаться от практикума, перейдя в более стандартный формат лекций и семинаров.

В предыдущие годы на лекциях по городской этнографии о рисках мы говорили немало, тем более что в Беларуси, например, проведение соцопросов «на общественно-политические темы» без лицензии может караться административной ответственностью. Мы пытались делиться наработками и ноу-хау по постро-

нию коммуникации с чиновниками нижнего уровня (куда входит получение разрешения на проведение опросов), показать, что и белорусская система не исключает интеграции исследования в практику управления городом. В то же время, преподавая, мы подразумевали, что представляем себе систему (и границы дозволенного в ней) довольно хорошо. После 9 августа от этой презумпции пришлось отказаться: исследовательские возможности теперь значительно сужены, а почти любые компромиссы с режимом невозможны технически или этически.

3

Мне несколько странно видеть «алкоголь, секс, насилие, правонарушения» в одном ряду, хотя я понимаю, что в целом идет речь о практиках, которые в той или иной степени табуированы, ненормативны для большинства культур. Для моего опыта релевантны два последних пункта этого списка.

В Украине моя исследовательская тема не была напрямую связана с насилием, и когда оно стало одной из определяющих практик в самом поле, я находился далеко, а в интервью задавал лишь вопросы про доконфликтный период. В Беларуси мне приходилось видеть насилие после 9 августа, и на этот раз моя тема исследования — забота о себе в контексте авторитаризма — непосредственно связана с ним: если в марте я фокусировался на распределении ответственности за риски заражения, то в августе мне довелось изучать памятки по передачам в тюрьмы, законодательство о беженстве и уголовный кодекс. При этом едва ли количество происходящего насилия как-то связано с моей исследовательской деятельностью. Скорее, в этой ситуации сложно отделить себя-этнографа от себя-протестующего и воздержаться от высказывания своих оценок ситуации там, где это может повлиять на решения людей. Особенные дилеммы тут возникают в связи с обсуждением личных планов: хотя протестующих объединяют основные требования и почти всегда гражданство, у них всё же отличаются возможности трудоустройства в случае увольнения, выезда из страны, получения вида на жительство в другом государстве и т.д.

Что касается правонарушений, то даже когда я учился на антрополога, в большинстве обсуждаемых примеров шла речь о нарушениях внутри функционирующих систем права. В ситуациях системного правового дефолта, когда государственные органы систематически (массово и в течение продолжительного периода времени) не выполняют нормы уголовно-процессуального права, международные правила обращения с заключенными и т.д., а протестующие при этом не соблюдают законодательство о проведении массовых мероприятий, апеллировать к нормам закона сложно. Будучи выпускником бакалавриата по юриспруденции, я не представляю, как сейчас

в Беларуси преподаватели комментируют своим студентам происходящее. В то же время у нас остаются международные принципы в области прав человека, и, на мой взгляд, их достаточно для этнографической работы, во всяком случае в контексте городов Восточной Европы.

4

Мне в целом не кажется, что антропологическая полевая работа обязана подразумевать приятные эмоции, во всяком случае на них точно не стоит рассчитывать (хотя здорово, если они случаются). Во многих антропологических карьерах выход в поле — самая тревожная, хлопотная и рискованная часть работы, которая служит выполнению задач и целей исследования, при этом будучи далекой от идиллии с гамаком и трубой.

Такие переживания, как страх, и другие негативные эмоции по отношению к своему полю — изучаемым ситуациям, практикам, сообществам, думаю, являются важной частью научного познания. Это особенно заметно, когда речь идет о пространствах малодоступных (а в 2020 г. почти все они такими стали). Чувство страха может быть одним из основных факторов, определяющих действия людей, и страх исследователя тогда уменьшает эффекты венаходимости, становясь неизбежностью включенного наблюдения. Иными словами, если я боюсь в Минске, то становлюсь частью местного эмоционального сообщества и преодолеваю важный барьер на пути к его пониманию.

Вместе с тем страх в поле и страх поля заставляют задуматься о роли и месте академической науки в обществе, контекстуализировать их и ситуировать наше знание. И конфликт на Донбассе, и белорусский кризис обнажают необходимость рефлексии об адекватных форматах письма (и исследовательского высказывания). В 2020 г. мне довелось писать журналистские репортажи вместо статей (и книги на основе диссертации), а также соотносить потребность в знании с другими нуждами изучаемых сообществ — в сне, чувстве безопасности, свободе передвижения и др.

Что касается негативных эмоций в отношении информантов, то мне помогает работать с ними интерсекциональный подход, который видит наложение нескольких позиций в каждом акторе. В моей практике чаще всего исследование фокусировалось на конкретных ролях, позициях, сферах активности людей при допущении, что в других сферах наши позиции могут быть несовместимы. Так, от отдельных транспортных активистов Донбасса меня могли отделять мнения по вопросам геополитики, но в рамках исследования мы взаимодействовали, разделяя интерес к экологически чистому транспорту.

В белорусском случае насилие в поле часто заставляет нас, антропологов, выглядеть бессильными, особенно если нам не удается проделать итерацию своего проекта с оглядкой на меняющийся контекст. В отдельные моменты тут кажется, что в поле «все понятно» и вместо сбора данных с самоочевидными результатами было бы лучше заняться прямым сопротивлением террору. Одновременно на первый план в такой ситуации может выходить терапевтическая функция этнографии: письмо как способ справиться со стрессом, шоком и фрустрацией. Кроме того, насилие в Беларуси, сколь бы экстремальным оно ни было для культур Евросоюза, статистически и качественно не является таковым для планеты. Это осознание напоминает нам, что задача антропологии — деконструировать границы и преодолевать евроцентричность своего взгляда ради лучшего понимания между культурами, а не только внутри них. Другими словами, белорусское поле может многое рассказать всему миру, например о ненасильственном сопротивлении.

Безопасность и полевые риски исследователя сами по себе не нейтральные понятия, они производятся в рамках отдельных привилегированных обществ, которые могут позволить себе академическую науку. Понимать это — не значит пренебречь безопасностью и рисками, но значит рефлексировать над содержанием этих понятий в контексте, а также растить в себе этнографическое умение за пределами академического.

ЭЛЬЗА-БАИР ГУЧИНОВА

3 Много лет я изучаю память о депортации калмыков и специфику нарративов об этом. Основной источник моего исследования — устные истории людей, имеющих личный опыт депортации или родившихся за Уралом. Я калмычка, родилась и выросла в Элисте, продолжаю изучать свой народ, даже проживая 20 лет далеко от республики. Как и всякий нативный антрополог, я скована множеством связей и ограничений поля, в котором работаю. Доверие и легкость, с которыми многие мои знакомые идут на контакт, оборачиваются другой стороной — моими самоограничениями в написании комментариев и страхом, что респондентам может не понравиться результат — страхом невольно обидеть людей, доверившихся мне. Но и рес-

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова
Калмыцкий научный
Центр РАН, Элиста,
Россия
bairjan@mail.ru

понденты не стали бы думать о том, чтобы повлиять на работу приезжего исследователя, а знакомого человека можно не стесняться и быть уверенными, что моя работа завершится ожидаемым для них результатом.

Я записываю спонтанный рассказ о годах ссылки, который дает не только новые знания о прошлом, например о стратегиях выживания и адаптации, проблемах с этнической идентификацией у детей, формах сопротивления репрессивному режиму в 1940–1950-е гг., но и современный взгляд на историческую политику в связи с этим событием. Осуждение некоторых государственных деятелей для немолодых рассказчиков требует особого доверия в разговоре, и не хочется этих людей обманывать в их ожиданиях. Во время беседы боишься пропустить важный сюжет, знанием о котором обладает именно этот человек.

Однако спонтанный рассказ — это не тот знакомый респонденту текст газетного интервью, в котором журналист и сотрудники издания обычно редактируют речь собеседника, делая мысли гладкими, а слова и выражения знакомыми. В таких публикациях всегда найдутся слова восхищения героем своего очерка. Я тоже люблю и порой восхищаюсь своими респондентами, но это не отражается вербально, однако, на мой взгляд, мое уважение и тихий восторг все равно должны читаться между строк.

Самые важные вопросы в работе с записанными текстами взаимосвязаны: разрешит ли собеседник или его наследник публикацию и как воспримут (не обидятся ли?) респонденты, прочитав опубликованный вариант. Лет 15 назад вопрос о том, оставить ли фамилию респондента или инициалы, вызывал недоумение: «Я ничего такого недостойного в своей жизни не делал, чтобы стесняться указывать свое имя». Наоборот, для многих стариков опубликованный рассказ об их сибирских испытаниях, через которые они успешно прошли наперекор обстоятельствам, — свидетельство их удачной судьбы. Они были рады иметь бумажное издание, чтобы их имена «прозвучали в будущем», чтобы (пра)внуки могли прочитать о своих предках и узнать об их жизни, когда сами герои повествования уже не смогут об этом рассказать.

Сейчас отношение к границам личного существенно изменилось. Дети по-разному относятся к тому, чтобы была указана подлинная фамилия. Часто они охотнее реагируют на предложение оставить инициалы.

При том что мне кажется, нет — я уверена, что отношусь к текстам респондентов со всем уважением, тем не менее нередко

встречаюсь с некоторым недовольством моих респондентов, впервые увидевших транскрибированный текст. Ведь слово в слово расшифрованный монолог — это практически зеркало, в котором человек узнает себя. А кто любит себя и радуется своему отражению? Обычно человек собой недоволен. Он видит себя в нарративе и не приходит от себя в восторг. Ровно как М. Горький говорит, что в рассказах И. Андронникова пародия на А. Толстого получается превосходно, а пародия на Горького — нет, а Толстой говорит, что все наоборот.

Я стараюсь перед публикацией показать текст рассказчику и для того, чтобы уточнить некоторые имена, топонимы и даты (здесь часто путаются), и для того, чтобы подготовить респондента к публикации и исключить неожиданные реакции. Мало того, что человеку не нравится его нарратив, он также не готов к жанру спонтанного интервью. Как мне сказала одна из первых респонденток, «я же так не говорю, когда выступаю с трибуны». Естественная беспарфосная речь со свободными сравнениями и образами кажется некоторым респондентам непричесанной, недоработанной мною. Как-то мне даже сказали, что я «не очень старалась» и «не очень получилось».

Чем же недовольны остаются рассказчики? Некоторых не устраивают детали, которые противоречат идеальной конструкции прошлого, например идеальному образу родителей. Информантка, отец которой был секретарем обкома ВКП(б), попросила убрать из текста слово *межя*, которое сама же не раз употребляла. Это слово (переводится «быстрый на слезу») не мешало ей при рассказе, но прочитав текст, она решила, что оно мешает цельности образа ответственного главы семьи, что это щербинка в маскулинности отца. В целом чаще всего дети номенклатурных работников более других волнуются за образы своих родителей. Мой одноклассник и хорошая знакомая, родители которых как раз и были в их числе, остались недовольны показанными версиями статей. Я показала им не только транскрипты, но и мои комментарии. Они были недовольны именно моими оценками, но что именно их обидело, не сказали. Не показать свои комментарии я не могла. Мне хотелось снять недопонимание на этапе до публикации. Не получилось. Наверняка они не читают научную литературу и не видят, что с моей стороны это вполне нейтральный текст, в котором и близко нет слов осуждения (упаси Бог!). Полагаю, что они не оценили рассматриваемые мною дискурсивные особенности речи партработников, которые не менялись во времени и так и просились быть прокомментированными. «Передний план исполнения» (И. Гофман) родительского нарратива не очень устраивает детей, которые, видимо, не удовлетворены своим социальным статусом.

Теперь у меня нет контактов с наследниками рассказчиков, нарративы не опубликованы. А один из этих двух рассказов — очень важный для истории народа, и я хотела бы, изменив фамилию и должность, все-таки опубликовать его.

Одна из моих задач при анализе текста — показать речевые сбои, в том числе нарративные шаблоны. И каждый раз я побаиваюсь, когда разбираю эти оговорки и проговорки, что респонденты обидятся, что я много внимания уделяю разбору того, что надо, по их мнению, вычеркнуть, что я вкладываю в этот анализ свои домыслы, а не их осознанные оценки. И их недовольство я могу понять. Поэтому в моей речи столько извинений, экивоков — и потому что я мямля, и потому что трудно иметь дело с людьми.

Конечно, проще всего брать разрешение на публикацию сразу же, до интервью. Но все-таки это не совсем честно. Честно показать весь текст после работы с ним, со всеми комментариями. Но не давать власть решать вопрос о судьбе публикации, а формулировать вопрос как дилемму: вы разрешаете опубликовать текст в таком виде или изменить вашу фамилию? В этом случае даже при неблагоприятном раскладе текст интервью не будет потерян для публикации, а конкретные имена рассказчиков часто и не так уж важны читателю.

ИРИНА КОЗЛОВА

1

Мое основное поле — уличные акции в Москве и Санкт-Петербурге. Мы с коллегами по группе «Мониторинг актуального фольклора» наблюдали самые разные уличные акции, как оппозиционные по самым разным повесткам и от разных политических сил, так и (хотя несопоставимо меньше) условно проправительственные. Кроме этого, мы занимаемся изучением «Бессмертного полка», памяти о войне и коммеморативных практик в разных малых городах и селах. Риски первого и второго поля довольно разные, хотя в чем-то могут совпадать.

Работая на уличных акциях, мы всегда рискуем быть задержанными и привлеченными к административной ответственности. При мысли о задержании меня пугает возможность доступа полицейских к моим личным

Ирина Владимировна Козлова

Школа актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, Россия
matira@dobre.ru

вещам: ноутбуку и телефону, — не в смысле страха за себя, а в смысле страха за информантов (фото с несогласованных митингов могут стать причиной заведения административных дел на них). Моя коллега по группе МАФ Александра Архипова назвала в разговоре при обсуждении поля такой страх (и связанные с ним риски) «вертикальным».

Отказываться от поля (т.е. не пойти на какую-либо несогласованную акцию) по причине страха задержаний даже мысли не было, но стараюсь соблюдать осторожность при работе на митингах, не ходить туда, где большое скопление ОМОНа, не привлекать внимания полиции и в случае чего убежать.

В то же время в этом поле есть риски «горизонтальные». Главный из них для меня — это риск быть принятой не за того человека, кем я являюсь. Можно быть принятой за другого в негативном смысле: за сотрудника центра «Э» или ФСБ в случае оппозиционных митингов или за агента иностранных спецслужб в случае митингов в поддержку действующей власти. При этом исследователь рискует, что его могут обозвать, «послать» куда подальше, что означает не получить информацию или получить заведомо ложную (последнее бывает в случае неуверенности, когда информанты говорят что-то вроде «Вы не подумайте, мы не против политики действующего президента, мы только по своей повестке», — в таких случаях у меня есть ощущение, что меня боятся и поэтому стараются сильно «смягчить» свое мнение), но одновременно это и риск моральной травмы, поскольку слышать такое всегда обидно. Можно быть принятой за другого в положительном смысле, и тогда появляется риск не оправдать ожидания: информант может даже верить, что мы исследователи, но считать, что наши исследования напрямую идут куда-то «наверх» и если мы расскажем (напишем), какие наши информанты хорошие и какая у них проблема, то их проблема непременно решится. Этот вариант чаще встречался мне во втором поле — не протестном, а по изучению памяти о войне. Например, учитель в деревне старается рассказать, как хорошо у них проводят 9 мая и как им не хватает финансирования, чтобы проводить его еще лучше, а мне становится стыдно, что я ему никак не помогу с финансированием. Такое чувство, наверное, знакомо почти всем исследователям. Но похожие случаи бывали и на протестах — когда люди надеются, что мы (через свои статьи или отчеты) им всерьез поможем.

При этом «вертикальные» риски могут играть в пользу снятия «горизонтальных», поскольку риск задержания объединяет исследователей с информантами на митинге, и чем больше риск задержания, тем выше, скорее всего, будет взаимопомощь (меня один раз информант буквально спас от попадания в «автозак»,

схватив за руку и крикнув: «Безим!»). Однако иногда «вертикальный» риск может сыграть не в пользу исследователя. Например, если исследователь проявляет чрезмерную осторожность, он рискует потерять уважение в глазах информантов. В моем полевом опыте было случаем, когда я на несогласованном митинге во время интервью побежала от ОМОНа, а когда я вернулась и увидела информанта, чуть отошедшего в сторону, мне стало немного стыдно.

2 На первый вопрос мне отвечать сложно, так как я работаю научным сотрудником без преподавания.

Что касается второго — наверняка несут. При задержании исследователя могут быть претензии к организации. Про ответственность организаций перед исследователем мне сказать сложно, так как поле я выбирала раньше, чем была аффилирована с организацией, в которой им занимаюсь (начала с волонтерства из любви к полю). Я скорее боюсь, что моя работа в поле привлечет внимание к организации и нашему проекту со стороны органов безопасности, поэтому во время задержания я не рассказала, что я исследователь, и получила административный штраф просто как участница.

3 Главная моральная дилемма в поле для меня всегда была в том, как быть одновременно исследователем и человеком с гражданской позицией. Чем больше я погружаюсь в поле, а основное мое поле — это все-таки изучение оппозиционных акций, тем больше я начинаю сочувствовать информантам, вовлекаюсь в политический активизм и тем более становлюсь субъективной. Моя оценка менялась по мере работы в поле: от стремления к соблюдению нейтральности к пониманию невозможности объективности и сильному вовлечению. Но остается вопрос, насколько можно идти в эту сторону и где стоит остановиться, чтобы не забыть, что я исследователь.

Как с этим бороться? Я для себя решила быть максимально искренней — никогда не скрывать ни того, что я исследователь и чем занимаюсь, ни того, какая у меня гражданская позиция. Если иду на акции к информантам явно неблизких мне взглядов, стараюсь найти общее и с ними, но на их вопросы честно не скрываю существующих разногласий, стараясь, правда, их не выпячивать и говорить о них в наиболее мягкой форме. Главное тут, мне кажется, рефлексировать свои эмоции в полевых дневниках (я всегда подробно описываю все, что я чувствовала в поле и во время каждого интервью) и делать выводы из этого. С выводами у меня пока явно хуже, чем с фиксацией эмоций.

После поля самое страшное — что мои материалы попадут в руки тех, кто сможет использовать их против моих инфор-

мантов. С этим страхом я живу почти постоянно, универсального средства от него не вижу, но может помочь что-то из следующего: чистить как можно чаще компьютер и телефон, чтобы к ним не было доступа, делать копии материала и хранить их в труднодоступных местах.

4

Испытывать эмоции — это нормально, они могут быть разными. Для меня самая недопустимая эмоция — это презрение. Бояться информантов (в определенных ситуациях) не стыдно, возмущаться их позицией и спорить я тоже считаю допустимым, а вот смотреть на информантов свысока — это то, что точно не красит исследователя. Страх, возмущение сами по себе могут стать предметом рефлексии поля и предметом научного анализа.

ЕЛЕНА ЛЯРСКАЯ, ШТЕФАН ДУДЕК

Общие замечания

С одной стороны, о соотношении безопасности и рисков сказано уже так много¹, что вроде бы сложно добавить что-то новое, с другой стороны, очевидно, что эта тема остается по-прежнему актуальной: ее различные аспекты обсуждают между собой коллеги, она регулярно поднимается студентами на Полевом семинаре факультета антропологии ЕУСПб, в котором мы оба участвуем. Возможно, это вызвано тем, что проблему рисков антрополога в поле нельзя решить в общем виде, нельзя заранее найти единственный ответ, который устраивал бы всех. Одни риски угрожают здоровью исследователя, другие ставят под вопрос возможность когда-нибудь вернуться в данное поле, третьи могут подрывать доверие к антропологам как к корпорации, четвертые поставить под угрозу доброе имя фондов и научных учреждений, отправляющих нас проводить исследование, и т.д. Один из важнейших этических принципов нашей дисциплины тоже касается рисков: мы стремимся избегать всего того, что может принести

Елена Владимировна Лярская

Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
rica@eu.spb.ru

Штефан Дудек (Stephan Dudeck)

Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия /
Университет Лапландии,
Рованиemi, Финляндия
stephan.dudeck@ulapland.fi

¹ См., например: [Behar 1997; Haggerty 2004; Phadke 2005; Palmer, Thompson 2010; Gentile 2013; Glasius et al. 2018; Schneider 2020].

вред людям¹, с которыми мы работаем и которые оказались вовлеченными в наши исследования часто не по их просьбе, а по нашей инициативе. При этом на практике все эти риски тесно переплетаются. Спасибо, что организаторы дискуссии постарались ограничить предмет обсуждения, поскольку тема кажется почти необъятной.

Весы для рисков

В немецком языке, родном для одного из нас, существуют разные слова: *Risiko* для риска в смысле вероятности наступления негативных последствий и *Wagnis* для риска, с которым приходится иметь дело, когда хочешь чего-то достичь. Второе этимологически связано со словами *wagen* (рисковать, осмеливаться, решиться) и *wägen* (взвешивать), и оба они отсылают к существительному *Waage* (весы). По-русски мы тоже говорим о *взвешивании* рисков при принятии решения. Нам кажется, что в сегодняшнем разговоре образы весов и взвешивания принципиально важны, нам необходимо держать в голове, *что* именно кладется на чаши весов, сравнивать то, *чем мы рискуем*, с тем, *что хотим получить* в итоге. Кроме того, нужно отдавать себе отчет в том, *кто* именно осуществляет взвешивание, ведь наши решения, наши действия и вообще наша агентность напрямую связаны с возможностью рисковать в смысле немецких *wagen* и *Wagnis*. К нашей дисциплине относится и английское “no risk no fun”, или, как сформулировала известный антрополог Джули Крукшенк, “if research doesn’t surprise you, it’s not worth the research”².

Конечно, риски бывают разные. Принимать решение легче, если человек ясно представляет, чем и ради чего он рискует, и может отделить те опасности, с которыми стоит иметь дело, от тех, которых нужно избегать. Очевидно, что проблема тут не только эпистемологическая, но и экзистенциальная, и каждый так или иначе учится с ней справляться. В экзистенциальном смысле абсолютно безопасно только небытие: пока человек жив, даже неизменность, сохранение статус-кво несет определенные риски — отсутствие своевременных перемен подчас приводит к тяжелым последствиям. Что-то похожее происходит и в области познания: живое знание требует риска, без которого его невозможно добыть, а иногда и передать. Поэтому избегать риска и в жизни, и в познании опасно, и при обсуждении того,

¹ См., например: [Iphofen 2015] и “International Arctic Social Sciences Association, Research Principles” <<https://iassa.org/about-iassa/research-principles>>.

² <<https://arcticanthropology.org/2013/04/10/if-research-doesnt-surprise-you-its-not-worth-the-research-julie-cruikshank/>>.

как риск и безопасность могут между собой соотноситься, нельзя упускать из виду, что если по какой-то причине исследователь вообще лишится возможности рисковать, он попросту не сможет получать новое знание. Таким образом, безопасность при проведении исследования не может быть самоцелью, так же как не может быть самоцелью и погоня за острыми ощущениями.

Антропологам приходится сталкиваться с разными типами рисков, каждый из которых имеет множество аспектов. В этой реплике мы остановимся только на нескольких важных вещах. Весьма условно обозначим их 1) риски для жизни и здоровья исследователя и 2) риски для самого исследования.

Первая группа рисков, которой мы хотим коснуться, обозначена редакцией как «физическое выживание в незнакомой среде». Разговор об этом неизбежно связан с двумя аспектами, один из них апеллирует к «героической» традиции в истории нашей науки, а другой касается повседневного опыта современных полевиков.

Ранняя антропология тесно связана с европейским романтизмом, для которого «опасность» — один из важнейших элементов. Риском для жизни и здоровья человек оплачивал право получать знание, и этот риск создавал вокруг исследователя героический ореол. Примечательно, что долгое время участие в полярных исследованиях женщин (речь идет не только об антропологии) во многом сдерживалось именно заботой об их безопасности. Считалось, что их незачем подвергать лишнему риску, поскольку они гораздо более уязвимы и им тяжелее будет справляться с суровыми условиями Арктики. Женщины же доказывали, что они имеют право сами решать, рисковать им или нет, что они вовсе не слабые существа, могут справляться с трудностями наравне с мужчинами и своим присутствием приносить пользу работе, а не создавать дополнительные сложности¹. Таким образом, борьба за гендерное равноправие в полярных исследованиях довольно долго была одновременно отстаиванием женщинами своего права на риск, права самим решать, подвергать себя опасности или нет. В этом случае очевидно, насколько тесно право на исследование связано с правом на собственный риск.

¹ Ср. высказывание биолога Н.П. Демме в интервью «Новому миру» (1936), данном после двухлетней зимовки на Северной Земле: «К нам, женщинам, относятся как-то снисходительно. “Женщина должна быть женственной”, — часто говорят мужчины. Ненавижу всех этих глашатаев вечной женственности, покровителей, хозяев <...> я желаю жить без всяких скидок на “слабый пол”. Никогда не подчинялась этому отвратительному закону <...> Я чувствовала свою силу, здоровье, моя специальность нужна Арктике. Идеи свои я привыкла доказывать на деле, собственным примером. С “его величеством мужчиной” я тоже давно хотела померяться силами» [Канторович 1936: 145–146].

Эта героико-романтическая линия сегодня отошла в тень, но в каком-то смысле никуда не делась: по-прежнему, отправляясь в поле, мы принимаем ответственность за риски для жизни и здоровья. До сих пор в полевой работе неминуемо идет речь о преодолении трудностей, принудительном дискомфорте, иногда о неприятном, но необходимом общении с людьми разных статусов и разных культурных сред, порой почти полным отсутствии собственной приватности и т.п. Сегодняшние трудности, конечно, не идут ни в какое сравнение с тяготами экспедиций хотя бы середины XX в. Редакция справедливо указывает, что подобных рисков сейчас гораздо меньше — транспорт, технологии и социально-экономические связи значительно упростили многие аспекты полевой работы, хотя и не устранили опасности полностью. Но и в нынешних обстоятельствах исследователи снова и снова оказываются перед одними и теми же вопросами — вопросами о мере соотношения рисков: необходимого и излишнего. И мы считаем, что право в большинстве случаев решать самостоятельно, какой риск считать оправданным и приемлемым, а какого лучше избегать, — важное завоевание, доставшееся нам от предшественников. Это право во многом определяет нашу агентность, и мы ни в коем случае не хотим отказаться от него под давлением наступающей «культуры безопасности», для которой минимизация рисков превращается порой в самоцель.

Но очевидно, что риск должен быть максимально осознанным и право на него связывается с ответственностью, знанием и опытом. Мы оба, с одной стороны, работаем в поле на Крайнем Севере, а с другой — постоянно имеем дело с магистрантами и аспирантами, отправляющимися в поле впервые, и нам кажется, что эта группа рисков сегодня нуждается в большем внимании.

При подготовке студентов современная полевая работа по умолчанию представляется как более или менее безопасная, хотя кажется, что риски, связанные с жизнью и здоровьем, на самом деле никуда не делись, скорее исчезло внимание к ним¹. Опасности, которые раньше романтизировались и героизировались, сейчас мало обсуждаются или просто игнорируются, как будто столкновение с ними не общая проблема, а индивидуальное дело каждого. Раньше опасности так или иначе, то в романтическом, то в героическом ореоле, присутствовали в представлении о любом антропологическом исследовании, были его

¹ Невнимание это отчасти может быть связано с тем, что большинство наших студентов «делают поле» в своей стране, а часто и в знакомой местности. При этом их знания о разнообразии условий, в которых живут люди в России, часто ограничены, а глобализация создает ощущение тесноты мира, в котором «экзотика» и «дикие нравы» — это где-то далеко.

неотъемлемой частью. Теперь, поскольку повседневность исследователя стала, как правило, более безопасной, а катастрофы отнесены к разряду случайностей, наподобие автомобильной аварии, то и обсуждение опасностей и у исследователей, и у студентов находится на периферии подготовки исследования.

Мы полагаем, что об этих угрозах нужно говорить больше, но не с целью запугать или ограничить студентов, а чтобы напомнить им, *что* именно в каждом случае кладется на чаши весов, *чем* они рискуют, отправляясь в поле в горячую точку, в красную зону госпиталя или в поездку с незнакомыми водителями по горам или зимнику, и стоит ли то, что они смогут получить, этого риска. Важно, чтобы они видели разницу между тем, *ради чего* рискует врач, оперирующий раненых в горячей точке, и студент-антрополог, едущий в зону конфликта вести исследование «ради науки» (или ради диплома), чтобы они учились думать о том, *при каких условиях* можно рисковать, как справляться со своими страхами и сохранять хладнокровие, и т.д.

Дело университета и научного руководителя объяснить, что профессионализм в поле — это умение предвидеть и взвешивать риски, а не авантюризм и стремление добыть информацию любой ценой, что важнее всего научиться слушать людей и выстраивать с ними долгосрочные отношения и что уклонение от сомнительного предприятия может потребовать гораздо больше профессиональных навыков, опыта и решительности, чем участие в нем. Трудности, с которыми студенты могут встретиться в поле, важно обсуждать, чтобы у них была возможность заранее подготовиться и соблюдать осторожность. Значительная часть рисков так или иначе связана с гендером исследователя: девушки могут скорее столкнуться с домогательствами, а молодые люди — с навязываемым употреблением алкоголя. Антропологам приходится иметь дело с нарушением нормального для них режима питания, угрозами повредить себе спину во время тряски по зимникам или перелетов малой авиацией и т.д. Даже старинная опасность подхватить в поле инфекционное заболевание или паразитов тоже никуда не делась. Хотя сегодня все эти вещи не очень принято обсуждать, но было бы неплохо, чтобы университеты и фонды проявляли больше заботы о здоровье тех, кто работает в поле, чтобы в учебную программу были включены курсы первой помощи, а студенты не только осознавали свое право на риск, но и умели формировать походную аптечку.

Таким образом, как исследователи мы настаиваем на праве самим решать, рисковать или нет, а как преподаватели хотим, чтобы наш опыт помог студентам избежать ненужного риска, а университетам — формировать разумные программы поддержки исследователей.

Этими рассуждениями тема рисков не исчерпывается. Кроме опасностей для жизни и здоровья исследователя, существуют риски, несущие угрозу самому смыслу антропологической работы. На наш взгляд, такая угроза распространяется вместе с уже упомянутой «культурой безопасности» (название которой пришло к нам из доклада МАГАТЭ о Чернобыльской аварии). С этой позиции конечной целью является достижение максимальной безопасности, а любой риск видится как преграда, как нависшая угроза травмы (физической или психологической), которой следует любой ценой избежать. Это заставляет сосредоточиться на борьбе с источниками потенциальных опасностей и видеть наивысшую добродетель в предупреждении травм. Отсюда проистекает всеобщее стремление минимизировать риски, которое мы наблюдаем как у самих исследователей, научных фондов и университетов, так и у общества в целом. С нашей точки зрения, само стремление к абсолютной безопасности и избеганию рисков опасно для антропологических исследований.

Мы рассмотрим ситуации, когда такие действия угрожают антропологической науке. Во-первых, намерение предусмотреть все возможные варианты развития событий рождает попытки отгородиться от угроз будущего при помощи бумаг и инструкций. Во-вторых, погоня за безопасностью может дистиллировать тематику исследований. В-третьих, стремление избежать любых опасностей может угрожать самим методам антропологического исследования. Все это ставит под вопрос само получение антропологического знания, его социальный и научный смысл.

«Бумажная безопасность»

В вопросах безопасности, безусловно важных, тесно связаны между собой этика, финансы, взаимоотношения исследователя, сообщества и институций. Стремление университетов и фондов понятно: исследователь в своей работе использует их имя, они рискуют репутацией, к ним могут быть предъявлены судебные иски, поэтому они имеют право участвовать в принятии решений о планируемой полевой работе. В том, что современные антропологи довольно много думают об этике и границах допустимого в исследовании, есть немалая заслуга этих институций. В большей части случаев фонды и университеты диктуют условия и ограничения для полевой работы, провозглашая своей целью заботу о благополучии и безопасности изучаемых сообществ и исследователя. Однако на деле эти условия и ограничения призваны обезопасить в первую очередь сами институции от возможных скандалов, судебных исков и репутацион-

ных потерь. В результате такая забота порой не только создает бессмысленные формальные преграды, мешающие работе, но и никак не защищает тех, кого призвана защищать.

Большинство антропологов исходят из принципа, что исследование должно проводиться среди тех, кто добровольно и осознано согласился принимать в нем участие. При этом многие западные (в первую очередь американские) университеты и фонды настаивают, чтобы исследователь фиксировал это согласие информантов непременно в письменной форме. Такая практика хорошо работает во многих сообществах, но при ее некритическом распространении повсюду вполне ожидаемо дает сбои. Так порой происходит и в России, где распространение практики подписывания «информированного согласия», с одной стороны, излишне затрудняет работу антрополога, а с другой — создает у него ощущение ложной безопасности.

Россия — страна большая и разная, во многих ее местностях и социальных группах предложение подписать некую официальную бумагу может вызвать совершенно иную реакцию, чем ожидается. Нередко люди воспринимают такое предложение как недружелюбное и угрожающее, манипуляций с их подписями опасаются больше, чем действий с полученной от них информацией. Иногда предложение письменно заверить свое согласие становится для людей сигналом, что отношения с исследователем впредь должны носить сугубо официальный характер, а для кого-то намерение антрополога вести задушевные беседы и участвовать в жизни семьи при одновременном требовании подписи воспринимается как циничное смещение жанров задушевной беседы и протокола допроса. В итоге те, кто готов был сотрудничать и доверять, могут отказаться подписывать бумаги, а сама попытка их к этому склонить может подвергнуть наши отношения с людьми и позицию в поле серьезному риску и затруднить исследование. При этом никакое подписание бумаг не может снять ответственности с антрополога, ведь даже получив информированное согласие по всем правилам, нельзя быть полностью уверенным, что до конца «проинформировал информанта» обо всех рисках исследования, особенно учитывая, что само исследование еще не завершено и выводы его неясны. Если к этому добавить, что в большинстве случаев у информанта нет опыта, который позволил бы ему осознать или хотя бы предположить, какой именно вред могут нанести ему исследование или публикация собранных у него сведений, то становится ясно, что во многих случаях требование получить письменное согласие не обеспечивает безопасности информанта, не снимает ответственности с антрополога и при этом может создавать серьезные препятствия для работы

в поле¹. Единственное, что могут гарантировать эти бумаги, это защитить университеты или фонды от возможных будущих исков и претензий.

Мы не призываем антропологов скрывать от информантов цели своего исследования и сам факт его проведения, мы за то, чтобы сотрудничать с людьми в поле и объяснять им, кто мы и зачем работаем, за то, чтобы оставлять людям выбор участвовать в работе с нами или нет. Но мы думаем, что следует не слепо копировать практики, выработанные для других условий, а искать честные и приемлемые для всех формы подобного информирования и согласия, подходящие для наших случаев. Это тем более важно, что, по нашим наблюдениям, у студентов, пытающихся применить эту практику, возникает идея, что, действуя по правилам, они избегают опасности. Эта идея основана на допущении, что, подписав бумаги, информант осознал свои риски и освободил антрополога от ответственности за то, что произойдет после: «Согласие у всех я подписал, все выполнил, с полевой этикой у меня все в порядке», — слышим мы порой на выступлениях магистрантов. Нам кажется, что такой подход, сводящий полевую этику к подписанию бумаг, не помогает исследователю избежать рисков, а создает у него ложное ощущение безопасности, ослабляющее его и делающее более уязвимым.

Масштабы укоренившегося в исследовательской практике стремления к согласованиям наглядно демонстрирует поучительная история, рассказанная недавно на одной конференции в Рованиеми представителями Саамского парламента Финляндии.

Недавно Саамский парламент объявил, что будет разрабатывать механизм, который позволит ему в будущем давать предварительное коллективное согласие на исследования, могущие затронуть судьбу и благополучие саамов². Как только это заявление прозвучало, на учреждение обрушился поток проектов будущих исследований. При ближайшем рассмотрении оказалось, что многие проекты никак не были связаны с финскими саамами, например разрешение (на всякий случай) стали запрашивать биологи, предполагающие вести наблюдения вблизи саамских земель, или исследователи, планирующие работать у российских саамов (у которых никакого парламента нет) и опасющиеся, что финансирующие фонды не поддержат исследования без

¹ Проблемы, возникающие при требовании формального письменного согласия, давно обсуждаются сообществом. Один из обзоров см. в [Зависка 2006].

² Ссылка на этот документ: <https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2019/04/FPIC-principles_S%C3%A1mi-Parliament-in-Finland-1.pdf>.

согласования саамов. Вал проектов оказался настолько велик, что Саамскому парламенту пришлось признать, что у него нет ресурсов, которые позволили бы рассмотреть каждый из них. Большинство заявителей интересовали не благополучие и судьба саамов (ведь проекты не были с ними связаны), а безопасность будущих исследований: они обращались для согласования на всякий случай, стремясь минимизировать любые риски для исследований и отвести любые упреки в некорректном поведении. В результате этого массового стремления к формальной безопасности проиграть могут и Саамский парламент, которому вместо серьезной работы придется разгребать бумажные завалы из заявок и проектов, и те исследователи, чьи проекты действительно касаются саамов, но которым не удастся начать исследование вовремя из-за больших очередей на согласование. Никто не спорит, что саамы должны иметь право голоса при обсуждении исследований, касающихся их самих и их будущего, но одно дело — обсуждение настоящих проектов, а другое — бессмысленный поток бумаг, в котором тонут любые, даже самые важные, предложения. Этот казус показывает, что умами исследователей уже овладел «дух безопасности», который заставляет их «стелить соломку» даже в тех случаях, где это не требуется ни внешними предписаниями, ни самой сутью работы.

«Опасные темы» исследования

Стремление к безопасности часто трактуется как стремление к бесконфликтности и может привести к тому, что исследователи будут обходить многие темы, изучение которых значимо для решения важных проблем. В первую очередь это происходит там, где исследование может привлечь внимание к «неудобным» вопросам, которые ранее не обсуждались публично, или затронуть существующий в настоящий момент статус-кво. Всегда ли правильно избегать тем, по поводу которых в сообществе не существует консенсуса? Один из авторов этой реплики, Ш. Дудек, участвовал в проекте, в рамках которого исследователи столкнулись с подобной проблемой. Среди жителей поселка Ловозеро вызвало споры обсуждение практик, связанных с существовавшей здесь в позднесоветское время вспомогательной школой для детей с задержкой умственного развития [Allemann, Dudeck 2017]. Одни считали, что «вытаскивание на свет» этой давней истории ведет к репутационным потерям для жителей села, а другие полагали, что обсуждение, напротив, реабилитирует тех, кто в давние времена пострадал от несправедливой маргинализации. Как, столкнувшись с такой ситуацией, должен поступить антрополог? Может ли он рискнуть, опубликовав результаты исследования, несмотря на разногласия в сообществе? Помимо традиционных вопросов о рисках для

информантов (на которые нет однозначных ответов), в контексте нашей дискуссии имеет смысл спросить о том, чем в такой ситуации рискует антрополог? По нашему мнению, оказавшись в гуще такого спора, исследователь ставит под угрозу свою репутацию, доверительные отношения с сообществом, которое в результате может просто «закрыться» и лишить его доступа в поле. В итоге конфликта под вопросом могут оказаться и его доброе имя, и сама возможность продолжать здесь работу в будущем. Можно ли идти на такой риск? Кто должен принимать решение в подобных случаях? Действительно ли правильно всегда избегать сложных тем?

На самом деле противоречивое отношение сообщества к теме исследования встречается довольно часто. Оно может возникнуть, например, при обращении к таким деликатным темам, как изучение современных репродуктивных практик или сексуальных меньшинств среди коренных народов. В последнем случае можно легко предвидеть, что одни люди расценят само предположение о существовании подобных меньшинств как клевету и клеймо, а другие, напротив, примут его и будут рассматривать результаты исследования в качестве инструмента, нужного для устранения маргинализации. Потенциально опасны осложнениями и исследования всего, что может служить маркером социальной стигматизации, например алкоголя, суицидов, венерических заболеваний и т.д. Могут провоцировать споры и темы, связанные с различными конфликтами вокруг природных ресурсов (нефть, газ, вылов рыбы и т.п.) или касающиеся неоднозначной интерпретации прошлого. Перечень этот при желании можно долго продолжать. Должны ли мы в таких случаях сосредоточиться на изучении «безопасных» тем, уклоняясь от тех, которые могут привести к конфликтам, или стоит рискнуть и взяться за их изучение? Нам представляется, что пытаться найти ответы на эти вопросы в общем виде бессмысленно и безоговорочное стремление к «безопасности» столь же неприемлемо, как и безоглядная исследовательская лихость. Гораздо продуктивнее, столкнувшись с неоднозначной ситуацией, попытаться понять, что лежит на чаше весов, соизмерять все «за» и «против» и обдумывать, к чему может привести то или иное решение. Это тем более важно, что в данном случае риски для исследователя и исследуемых переплетены настолько тесно, что их с трудом можно отделить друг от друга.

«Опасные методы»

Стремление взять все под контроль и избегать любых опасностей, на наш взгляд, входит в противоречие с основным и классическим методом антропологии — включенным наблюдением.

Включенное наблюдение само по себе связано с имманентными рисками. В своем классическом виде оно требует, чтобы исследователь продолжительное время жил и социализировался в чужой ему среде, а удаленность места исследования часто делает невозможной мгновенную эвакуацию антрополога, даже если возникнет угроза его жизни или здоровью. Условием успешной социализации в чужом сообществе часто является именно готовность разделять с людьми их повседневную жизнь с ее радостями, печалью и рисками. При этом у исследователя, только начинающего работу в сообществе, как правило, довольно низкий уровень социального и символического капитала, часто он оказывается странным, беспомощным, ничего не умеющим и не владеющим навыками выживания в группе персонажем. Во многих ситуациях его, конечно, защищает статус «гостя / чужака, могущего создать проблемы» (имеющий, несомненно, вполне колониальное происхождение). Но все же главная защита для антрополога в поле — его социальная компетенция, умение «вписываться» в существующие в этом обществе системы предохранения от опасностей и конфликтов, максимально пригодные для этой конкретной среды. Освоение этих систем и получение таких социальных компетенций — важная часть любого поля, основанного на включенном наблюдении, мы встраиваемся в эти системы и одновременно изучаем их. Однако эта часть работы не может не быть связана с рисками и непредсказуемостью, поэтому она неизбежно входит в противоречие с растущим стремлением к максимальной безопасности.

Это стремление в сочетании с заимствованной из популярной психологии идеей травмы, которую нужно любой ценой избегать, уже начали оказывать влияние на будущих исследователей. Кажется, что студенты все чаще тяготеют к методам, позволяющим сократить социальное взаимодействие, к тому, что, в отличие от «глубокого» исследования, можно называть исследованием «поверхностным» — основанным на кратковременных интервью, мимолетных социальных контактах или письменных источниках. Такой подход и менее затратен, и более безопасен, на такого «быстрого» исследователя чаще распространяются законы, защищающие гостя, и правила, предписывающие снисходительное отношение к «ничего не понимающим» чужакам. Но есть знания, для получения которых необходимо «глубокое» социальное взаимодействие, жизнь с информантами бок о бок. Такая жизнь чревата неудобствами и насмешками, но только так мы можем увидеть те вещи, которые обычно скрыты от глаз гостей и посторонних. Именно поэтому нас тревожит, что в студенческих проектах включенное наблюдение все чаще уступает место «нэтнографии» (netnography) — исследованиям,

проводимым в интернете, или изучению офлайн-феноменов при помощи онлайн-коммуникации. Последняя, видимо, воспринимается как более безопасная, чем общение лицом к лицу (заметим, что это ложное представление: в интернете есть свои риски). Понятно, что включенное наблюдение — метод, применимый далеко не во всех современных полях, в современных исследованиях на полевую работу отпускается все меньше времени, тогда как антропология (в ее классических формах) — наука медленная, требующая времени в поле на вживание и понимание. Все эти факторы толкают исследователей на поиски средств, позволяющих интенсифицировать работу. Но по нашим ощущениям стремление к собственной безопасности (физической и психологической) тоже вносит свой вклад в этот сдвиг.

Нередко речь идет не столько о физической, сколько о психологической, эмоциональной безопасности. И это обращает нас к заданному редакцией вопросу: имеет ли антрополог право на негативные эмоции в поле и совместимы ли они с научным познанием? С нашей точки зрения, в самих эмоциях исследователя, даже негативных, нет никакой угрозы. Опасность возникнет, если у антрополога не будет никаких эмоций. Он не просто имеет право, а обязан чувствовать во время полевых исследований, ведь работа с собственными эмоциями и их анализ — один из наших инструментов¹. Живя с людьми, мы не только изучаем их язык, разбираемся в их социальных связях, осваиваем их рутины, но и учимся чувствовать как они. Эмоции — тоже язык, и для его освоения необходим опыт наших собственных чувств. Несовпадение эмоций исследователя и информантов — не сбой в коммуникации, а инструмент для изучения, поскольку заставляет задуматься о его причинах. Почему мы испытываем безразличие и отвращение не там, где наши информанты, почему мы боимся там, где они не боятся, и т.д. Этот инструмент может оказаться под угрозой, если во главу угла будет поставлено стремление исследователя обезопасить себя и свой внутренний мир от «излишних» эмоциональных переживаний, привязанностей, не говоря уже о потрясениях. Ведь нередко то, что полезно нам как антропологам, может быть довольно неприятно или трудно переносимо для нас как людей.

Подводя итог, мы хотим напомнить, что право на риск и право на безопасность не исключают друг друга, но требуют от антро-

¹ Немецкий антрополог Петер Бергер [Berger 2009] даже создал концепцию “key emotional episodes”, указывая, что переживание эмоций, с одной стороны, дает антропологу новый уровень включенности в сообщество и доступ к сфере культурной интимности, а с другой — маркирует моменты, когда он осознает, что достиг определенного уровня понимания эмоциональных реакций людей, мир которых он изучает.

полога поиска разумного баланса. Нам следует каждый раз заново прокладывать свой путь, основываясь на деталях конкретного изыскания, а не на абстрактных правилах и формальных предписаниях. Общего для всех решения у этой задачи попросту нет.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что попытка контролировать все приведет к тому, что мы будем знать только то, что мы уже знаем, так как никаких неожиданностей не допустим. Именно поэтому нарастающая тенденция избегать любых рисков сама по себе создает серьезные риски для антропологических исследований.

На наш взгляд, исследователям следует минимизировать риски не с помощью всеобъемлющей «культуры безопасности», а опираясь на традиционные и не раз уже опробованные факторы — осознанность и ответственность. А наши работодатели, университеты и фонды должны стремиться не столько застраховать себя от репутационных потерь и судебных исков, сколько создать такую среду, в которой возможны «рискованные» исследования и которая позволяет ученым смелее и увереннее приниматься за них.

Библиография

- Зависка Дж.* Этика полевой работы в этнографии // Антропологический форум. 2006. № 5. С. 169–193.
- Канторович В.* Нина Демме // Новый мир. 1936. № 10. С. 144–159.
- Allemann L., Dudeck S.* Sharing Oral History with Arctic Indigenous Communities: Ethical Implications of Bringing Back Research Results // *Qualitative Inquiry*. 2017. Vol. 25. No. 9–10. P. 890–906. doi: 10.1177/1077800417738800.
- Behar R.* *The Vulnerable Observer: Anthropology That Breaks Your Heart*. Boston, MA: Beacon Press, 1997. 208 p.
- Berger P.* Assessing the Relevance and Effects of “Key Emotional Episodes” for the Fieldwork Process // Berger P., Berrenberg J., Fuhrmann B., Seebade J., Strümpell Ch. (eds.). *Fieldwork: Social Realities in Anthropological Perspectives*. B.: Weißensee Verlag, 2009. P. 149–176.
- Gentile M.* Meeting the “Organs”: The Tacit Dilemma of Field Research in Authoritarian States // *Area*. 2013. Vol. 45. No. 4. P. 426–432.
- Glasius M., de Lange M., Bartman J., Dalmaso E., Lv A., Del Sordi A., Michaelson M., Ruijgrok K.* *Research, Ethics and Risk in the Authoritarian Field*. Cham: Springer, 2018. 122 p.
- Haggerty K.D.* Ethics Creep: Governing Social Science Research in the Name of Ethics // *Qualitative Sociology*. 2004. Vol. 27. No. 4. P. 391–414. doi: 10.1023/B:QUAS.0000049239.15922.a3.
- Iphofen R.* *Research Ethics in Ethnography / Anthropology*. European Commission, DG Research and Innovation. 2015. <<http://ec.europa.eu/>

research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf>.

Palmer C., Thompson K. Everyday Risks and Professional Dilemmas: Fieldwork with Alcohol-Based (Sporting) Subcultures // *Qualitative Research*. 2010. Vol. 10. No. 4. P. 421–440. doi: 10.1177/1468794110366800.

Phadke Sh. “You Can Be Lonely in a Crowd”: The Production of Safety in Mumbai // *Indian Journal of Gender Studies*. 2005. Vol. 12. No. 1. P. 41–62. doi: 10.1177/097152150401200102.

Schneider L.T. Sexual Violence during Research: How the Unpredictability of Fieldwork and the Right to Risk Collide with Academic Bureaucracy and Expectations // *Critique of Anthropology*. 2020. Vol. 40. No. 2. P. 173–193. doi: 10.1177/0308275X20917272.

ДАРЬЯ СКИБО

1

Наверное, в своей работе я ни разу не сталкивалась с угрозами жизни и здоровью или другими опасностями подобного рода, поэтому мне никогда не приходилось отказываться от участия в исследованиях. Ситуация, которая в первую очередь приходит на ум, — это проект, который мы делали вместе с моей коллегой из Института гуманитарных наук (IWM, Вена, Австрия) Татьяной Журженко о взаимодействии приграничных территорий (Харьковской и Белгородской областей) Украины и России после 2014 г. Никакая реальная опасность не угрожала ни ей, ни мне. Но моя работа на территории России была осложнена тем, что Белгородская область является приграничным регионом, так что мы опасались повышенного внимания ко мне со стороны местных и федеральных властей (этого не случилось). Риски, которые я обычно вижу, касаются не меня / моей работы, но благополучия участников исследования. В том же проекте, когда мы обе брали интервью на территории Украины, многие наши информанты, например, отказывались встречаться в их офисах и на рабочих местах, опасаясь последствий, которые могли бы случиться из-за взаимодействия с российскими гражданами (конечно, я не скрывала своего гражданства). В таких случаях мы находили возможность говорить на нейтральной территории — в кафе

Дарья Дмитриевна Скибо

Европейский университет
в Санкт-Петербурге /
Центр независимых
социологических исследований,
Санкт-Петербург, Россия /
Исследовательский центр
Восточной Европы при
Бременском университете,
Бремен, Германия
skibo.daria@gmail.com

или других публичных местах. Опасения вызывало и то, как хранить полученные данные — аудиозаписи и транскрипты, поскольку в 2017 г., когда мы реализовывали проект, уже было множество историй об изъятиях ноутбуков и жестких дисков у журналистов. К сожалению, тогда я не владела дополнительными техниками шифрования и защиты данных. Мне не пришлось в голову отказаться от работы в Украине и тогда, когда многие мои информанты и коллеги утверждали, что я просто не смогу пересечь границу (меня снимут с поезда, развернут обратно в сторону России на пограничных пунктах и т.д.). К счастью, этого не произошло, но, наверное, такой риск все-таки был.

Я полагаю, чтобы решить вопрос, что стоит риска, а что нет, следует постараться предусмотреть до полевого этапа все возможные «поломки» в поле, начиная от невозможности физического доступа к полю, угрозы жизни, здоровью, свободе, политических последствий работы и заканчивая пониманием возможной травматизации (если речь идет о сложном поле). Если такая угроза существует, исследователи вправе самостоятельно решать, готовы ли они брать на себя определенные риски или справляться с возникающими сложностями, какие ресурсы у них для этого есть (например, дополнительный бюджет на покрытие внезапных расходов, если придется воспользоваться другим видом транспорта, срочно сменить гостиницу или «место дислокации» вообще). Мне не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда полевые исследователи подписывали какие бы то ни было дополнительные документы, в которых обозначался список потенциальных рисков, но, возможно, такой протокол мог бы стать хорошим дополнением к дизайну и программе исследования. Многие международные фонды запрашивают такую информацию на этапе подачи заявки: они просят оценить, какие реальные риски (свободе, жизни, здоровью, иногда — репутации) возможны, и оставляют за собой право отказать в финансировании исследований, связанных с высокими рисками. Кроме того, многие мировые университеты запрещают своим студентам и аспирантам ездить в определенные поля — по тем же причинам. Определенные риски требуют дополнительных статей в бюджет.

2

Я не преподаю, и у меня нет студентов, но я уверена, что обсуждение рисков полевой работы — это важная часть образования молодых социологов и антропологов. Даже если поля, в которых мы проводим исследования, кажутся нам «обычными», близкими к нашей собственной жизни городскими пространствами и сообществами, это не значит, что пребывание в них характеризуется безопасностью. Каждый из нас всегда сталкивается с риском «испортить поле», и об этом, конечно,

нужно говорить. Если протокол исследования включает в себя (хотя бы на неформальном уровне, на уровне представлений, а не инструкций) базовые идеи о своего рода правилах поведения в поле, мне кажется, такое исследование может быть и богаче, и методологически более строгим. Работа в поле — это всегда столкновение с жизненным миром Другого, о котором у нас может быть очень базовое, поверхностное представление, поэтому возможные риски стоит обсуждать и с учениками, и с коллегами. Я думаю, что механизмы преодоления рискованных ситуаций тоже должны быть продуманы: с кем и как контактирует исследователь, если он в опасности, кто его контактное лицо в том месте, где он работает, и «на большой земле»? Есть ли доступ к связи, медикаментам, безопасному жилью, воде и продуктам питания в том месте, где он работает? Существуют ли специфические угрозы, связанные с полом, возрастом, политическими, религиозными или другими взглядами исследователя? Может ли его профайл быть «считан» как профайл чужака или врага? Может ли исследователь быть вовлечен в криминальные активности или стать жертвой сексуального насилия? Существует ли угроза физического насилия в поле? Может ли исследователь и его работа спровоцировать конфликт (например, внутри сообщества или между разными исследуемыми группами)? Эти и другие вопросы, возможно, и не требуют рассмотрения в каждом исследовании, но готовность думать о рисках и представлять, как будет выглядеть работа в поле, как мне кажется, важная часть навыков социологов и антропологов и в некотором смысле способ развить социологическое воображение.

Исходя из нейтральной, научной установки многим, особенно молодым, социологам кажется, что наша позиция в поле тоже нейтральна, незаметна, что мы работаем как амперметр: считываем показания сети, не влияя на ее конфигурацию. Но это далеко не так. Для участников исследования социолог или антрополог обладает всеми теми характеристиками, которые считывают и измеряют люди в повседневном взаимодействии. У исследователя есть пол и возраст (и с одними из нас охотнее говорят женщины, а с другими — мужчины; одних из нас воспринимают как наставников и экспертов, а других — как неопытных молодых людей, часто даже как детей или внуков). У исследователя, как у любого другого человека, есть система взглядов и предпочтений, поэтому наши информанты часто спрашивают «а что об этом думаете вы?», «а как на это смотрите вы?» Это совсем не означает, что социолог или антрополог обязан отвечать на эти вопросы развернуто и посвящать большие части интервью описанию собственных взглядов. Но такой запрос на информацию об исследователе — попытка восстано-

вить коммуникативный баланс, обустроить «нормальный» диалог между людьми. Исследователя характеризует и определенный уровень благосостояния: люди вокруг нас видят, хорошо ли мы одеты, каким транспортом воспользовались, чтобы приехать на интервью. Учебники по полевой работе описывают исследователя как «среднего» человека, который должен вписаться в объект исследования и быть «не хуже и не лучше», чем средний представитель исследуемой группы. Притворство в таких ситуациях сложно и опасно для поля: представьте себе горожанина, который проводит исследование в сельской местности и изо всех сил старается быть своим. Надевает «деревенскую» одежду, старается изменить свою речь и т.д. Я бы назвала такое поведение ошибочным, потому что оно не только не искренно, но может быть воспринято как насмешка. Поскольку фигура исследователя чужда жизненным мирам большинства наших информантов, не имеет смысла притворяться «своим». Придется смириться с тем, что мы будем восприняты в поле совершенно определенным образом. С нами будут вести себя сообразно нашей репрезентации и ее восприятию, и большой риск не увидеть свое Я, свой собственный портрет глазами своих информантов. Мне кажется, риски, связанные с репрезентацией социолога (или антрополога) в поле, нужно обсуждать отдельно.

3

Я уверена, что столкновение с моральными и этическими дилеммами в полевой работе, особенно при работе в сензитивных полях, с уязвимыми социальными группами, теневыми или криминальными практиками, практически неизбежно. Имеющиеся в нашей профессии регуляторы решения этических вопросов недостаточны, потому что не могут покрыть весь спектр возникающих в поле вопросов. Например, фиксация фактов правонарушений (информантами) вообще никак не предусмотрена существующими профессиональными этическими кодексами, и каждый, кто сталкивается с такой ситуацией, вынужден принимать решения исходя из своих ресурсов, убеждений и ценностей. Да, стоит отметить, что такие ситуации редки, но социологи и другие социальные исследователи не могут руководствоваться общим правилом, сформулированным в профессиональных документах или нормативных актах. Они не защищены от привлечения к ответственности в случае «сокрытия» информации о совершенных участниками исследования преступлениях. Между тем даже то, что предписывают нам кодексы, часто не имеет отношения к реальной жизни или описано в максимально расплывчатой форме. Такой подход к определению профессиональных норм оставляет решение конкретных моральных и этических дилемм на усмотрение исследователя, находящегося в поле, здесь и сейчас. Ни один из

существующих в России профессиональных этических кодексов социологов не отвечает на вопросы, можно ли пить с информантами, вступать с ними в сексуальные отношения и т.д. Кодексы также не отвечают на вопросы, связанные с оплатой труда информантов, хотя эта тема тоже является и весьма сензитивной, и методологически укорененной.

Я никогда не сталкивалась с насилием или угрозой насилия в поле, но прекрасно представляю, что поля могут быть разными. Мои коллеги, особенно молодые женщины, описывали ситуации, в которых подвергались как минимум харассменту или чувствовали угрозу сексуального насилия. К сожалению, в некоторых контекстах этого трудно избежать, и потому в зависимости от тематики исследования следует предусматривать такие риски и обсуждать их в исследовательских командах заранее. Следует продумывать протоколы поведения, механизмы защиты и реакции в тех случаях, когда исследователь попадает в опасность. Часто мы думаем, что должны в первую очередь защищать информантов: от ретравматизации, если речь идет о сензитивном и травматичном пережитом опыте (физического и психологического насилия, болезни и т.п.), или от последствий исследования (отсюда высокие требования к анонимизации данных и контролю их хранения и воспроизводства). Но часто в защите нуждаются сами исследователи. Профессиональная подготовка социологов практически не предполагает ничего, кроме базовых курсов в области психологии, а научное сообщество социальных исследователей, в отличие от психологов или психотерапевтов, не имеет института супервизии.

4

Полагаю, любопытство — это главная движущая сила любого исследования, а также очень сильная эмоция, которая позволяет продуктивно и много работать, достаточно долго и результативно находиться в поле и делиться находками с коллегами. Исследователи испытывают и позитивные, вроде любопытства, и негативные эмоции в отношении своих полей и своей работы в целом. Фрустрация, разочарование, истощение, раздражение, выгорание, травматизация и другие эмоции — это возможные последствия полевой работы и жизни в академии. К сожалению, многие исследователи не готовы к тому, чтобы эти эмоции испытывать, плюс в социологии нет как такового института супервизии. Можно рассчитывать на помощь коллег по команде или по проекту, но эта помощь тоже не всегда систематична, профессиональна и достаточна. Я бы хотела, чтобы в профессиональном сообществе исследователей мы больше говорили о том, как справляться с негативными эмоциями и, главное, как развивать внутренние механизмы и институты, которые могли бы этому способствовать. На мой взгляд, исследователь имеет право испытывать самые разные эмоции по поводу своей ра-

боты, в том числе полевой. Отказ от эмоций и их подавление не играет на руку нейтральности и установке научного познания, наоборот, скрытые эмоции извращают смысл и, возможно, ценные знания, полученные в ходе исследования. Полевые дневники часто становятся помощниками в преодолении излишней эмоциональности: некоторые поля и некоторые эмоции требуют дистанции и времени. В других случаях автоэтнография и описание этих самых негативных эмоций, возможно, расскажут о поле больше, чем серия интервью. Если исследователь постоянно испытывал страх, с чем это было связано? В какой ситуации этот страх возник впервые и почему возвращался? Что заставляло исследователя остаться в поле? Какими ресурсами он обладал, чтобы преодолевать страх или обеспечивать свою безопасность? Какие собственные характеристики заставляли его чувствовать себя уязвимым и перед чем? Я считаю, что описание исследовательского опыта ценно само по себе, работает как прекрасный метод и недооценено в современных социальных науках.

Кроме того, эмоции — это важные индикаторы состояния людей (включая исследователей) и их взаимодействия с окружающей средой. Страх или другие негативные эмоции показывают, что что-то идет не так: возможно, нужно выйти из поля прямо сейчас, или для этой полевой работы требуется другой исследователь, с другими характеристиками и другим профайлом, или ситуация в поле изменилась настолько, что сейчас в нем находиться не нужно никому. В таких случаях, конечно, исследователь имеет право остановить активную часть работы и снова оказаться в пространстве, где он не испытывает страха и других похожих эмоций.

Я бы закончила на том, что единственное, чего себе исследователь позволить не может, — это неуважение к полю и к участникам исследования. Мне кажется, что если у нас не получается уважать тех, кого мы исследуем и с кем работаем, то такое поле нужно оставить, независимо от того, насколько оно рискованное или безопасное.

МАРИЯ СТАНЮКОВИЧ

Мария Владимировна Станюкович

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН, Санкт-Петербург, Россия
mstan@kunstkamera.ru

Опасности и риски поля для антрополога: Филиппины и немного Камбоджи

В вопросах редколлегии читаем: «Содержание категорий опасности и риска менялось со временем. Поначалу речь шла о физиче-

ском выживании...» Предлагается обсуждать «современные риски»: сексуальные домогательства, насилие, судебные разбирательства, давление государства, взаимоотношения между университетом и исследователями, репутационные, психологические риски. Не умаляя важности всего перечисленного, замечу, что совсем не упоминаются непосредственные угрозы жизни, с которыми сегодня, а не в седой древности сталкивается антрополог, работающий в традиционном поле. Это, как сказал бы Н.Н. Миклухо-Маклай, весьма характеристично. Между тем риск быть убитым или похищенным, опасность заражения тяжелыми, часто смертельными болезнями и риски, связанные со стихийными бедствиями, никуда не делись и остаются повседневной реальностью. Но не для всех.

Многие традиционные для антропологии полевые территории (Азия, Африка, Южная Америка) у нас сегодня просто не берутся в расчет (с Арктикой не так плохо ввиду ее большей для нас доступности). «Так мало стало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь». Как я уже писала, «маргинализация этой группы специалистов в нашем профессиональном сообществе — объективная реальность»; «Чем поле дальше, труднодоступнее и затратнее во всех смыслах, включая лингвистические, климатические, эпидемиологические факторы, тем выше риск утраты контакта с академической повседневностью. В оценке работы полевого и достоверности его полевого материала часто первую скрипку играют люди, не тратящие много времени на поле и на изучение языков. Те, кто вообще в поле не работает, также имеют право голоса — иногда решающего» [Станюкович 2018: 141–142]. Антропологическим полем в наши дни считается и опрос френдов в интернете, и беседы с детьми и их одноклассниками. Ради бога, пусть будут новые направления и новые формы работы, но они не должны заменять, тем более отменять основной метод нашей дисциплины — метод включенного наблюдения. Нехорошо, когда полевик, регулярно едущий в долговременные экспедиции в отдаленные края, сталкивается с недовольством начальства и недоумением коллег — «зачем ума искать и ездить так далеко?» Не будет преувеличением сказать, что значительной частью российского профессионального сообщества эти поездки воспринимаются то ли как *partie de plaisir*, то ли как некое чудачество, несовременность, «девятнадцатый век». Есть опасность (*sic!*), что реакцией читателя на эти заметки будет пожимание плечами — «ну и зачем тогда туда ездить? Раз там так все опасно». Кажется излишним напомнить, что не только основы нашей научной дисциплины базируются на опыте полевиков, работавших в Азии и Африке, но и ведущие теоретические инновации в мировой антропологии сегодняшнего дня появляются в результате ра-

боты именно в этих географических ареалах, благодаря бесценным для нашей науки материалам исчезающей архаики, собираемым в условиях, близких к тем, описанию которых посвящена моя реплика. Думаю, что теории будет достаточно в ответах коллег, а я воспользуюсь собственным полевым опытом, чтобы сосредоточить внимание на тех полях и тех опасностях, которые для большинства перешли уже в разряд «полузабытых слов и значений».

1.1. Угрозы жизни: маоисты, джихадисты и просто пираты

Начну с угроз от «человека с ружьем» (в моем случае со штурмовой винтовкой, *armalite*). В филиппинском поле они присутствуют постоянно, связаны с деятельностью организованных боевиков и противоборствующих им армии, полиции и констебуларии. Самое худшее — попасть в перестрелку между инсургентами и правительственными войсками, тогда бывают массовые жертвы среди местного населения, как это случилось в одной из деревень горной провинции Ифугао, основного места моих полевых исследований последние 25 лет. Меня там в это время по счастливой случайности не было.

Вооруженные группировки NPA (*New People's Army*), коммунистов маоистского толка, действуют в Ифугао и в других районах Центральных Кордильер, как и в большинстве внутренних труднодоступных районов, где живут коренные народы, с конца 1960-х гг. Это наследники антияпонских формирований *Hukbalahap* (*Hukbo laban sa Hapon*, «Войско для борьбы с Японией»), базировавшихся там в период Второй мировой войны. Во времена диктатуры Маркоса и введенного им военного положения они возглавляли антимаркосовский фронт, иногда защищали местных жителей (например, помогали им в борьбе против строительства дамбы, грозившего затоплением больших массивов *ancestral lands*) и пользовались поддержкой населения. После мирной революции, свергнувшей Маркоса, большинство бойцов вернулись к мирной жизни, но радикалы остались. Добровольная поддержка населения сменилась вынужденной, но историю все помнят, и NPA там люди неслучайные. Некоторые муниципалитеты до сих пор негласно считаются их территорией, полиция боится туда соваться. Мои друзья-родственники-информанты ифугао говорят: «Сами туда не пойдем и тебя не пустим». Это создает некоторые сложности. Например, когда мы со сказителями пытались пройти по маршруту, которым в записанном мною похоронном сказании душу умершей отправили в мир мертвых, нам пришлось сделать крюк и подойти к месту слияния рек с другой стороны [Станюкович, Козинцев 2016; Станюкович 2017].

При этом я не сомневаюсь, что NRA, действующие в провинции Ифугао, обо мне знают и наверняка приходили на меня посмотреть, особенно во время моей первой, почти годовой экспедиции 1994–1995 гг. по гранту Wenner-Gren, когда я жила одна в крошечном домике на хуторке, состоявшем из четырех домов и окруженном лесом, и работала на рисовых полях [Stanyukovich 1996; Станюкович 1998]. Тогда «американо» (так называют на Филиппинах любого европеоида) были здесь в диковинку. У меня были опасения по двум фронтам. С одной стороны, американо по определению воспринимается как человек богатый, а я еще провела на хутор электричество и записывала сказителей на диктофон. И у меня был фотоаппарат. То есть естественно было бы экспроприировать у меня эти ценности. С другой, известия о падении социализма и распаде СССР на Филиппинах до сих пор не всюду дошли, а в 1990-е тем более. Я не исключала возможности «дружественного визита» для обмена опытом борьбы с империализмом. Но бог миловал. Думаю, защитили, как это всегда бывает, местные жители. Меня удочерила крестьянская семья, по всей провинции у меня появились родственники, а родственные связи у ифугао, бывших охотников за головами, — главная и единственная гарантия безопасности.

В тех случаях, когда мне надо самой принять решение, я принимаю риски на «своей территории». Например, в том же 1995 г. я возвращалась в Ифугао из Манилы, где была на конференции ЮНЕСКО по рисовым террасам, вместе с французской коллегой-антропологом, специалисткой по югу Филиппин. Не доезжая до моей «глубинки», мы остановились в Банауэ, единственном туристическом городке провинции. Там мы узнали, что в долине неподалеку на похоронах очередной жертвы распри по поводу земельных владений, длящейся уже много месяцев, будет проведен ритуал хим-унг, относящийся к обрядовому циклу охоты за головами. Во время этого действия с разных концов долины стекаются отряды воинов в набедренных повязках, с копьями и щитами, в головных уборах из донглы — священного растения с красными листьями, которое, по поверью, растет там, где пролилась кровь. Кульминация — гадание по жертвенному петуху, кто будет возглавлять поход мстителей за убитого. Собственно охота за головами у ифугао закончилась еще в 1970-е, традиционную одежду надевают только в обрядовой или праздничной ситуации, копия — тоже обрядовый аксессуар, а в обыденной жизни пользуются ножом и автоматом. Мне было трудно найти проводника, все боялись идти туда, опасаясь взрыва насилия: «их гнев еще горяч». К счастью, все обошлось без кровопролития. Никто не хотел попасть в тюрьму, поэтому петуху с отрубленной головой, который должен

указать предводителя мстителей, на моих глазах дали убежать в кусты. Однако ситуация была взрывоопасной (в том районе, где работаю я, обряды хим-унг подавляли войсками), никто не мог предвидеть, как дело обернется. Я решила идти, моя французская коллега осталась. Я с пониманием отнеслась к ее решению, ведь эта территория для нее «чужая». Не исключено, что у незнакомого мне народа, которым я не занимаюсь, я тоже предпочла бы не рисковать.

Мой единственный отказ от экспедиции связан с основным принципом: «слушаться местных жителей». Я занимаюсь этноботаникой и была очень рада, когда три прекрасных профессионала-ботаника, все материале полевики (но без филиппинского опыта) попросились ехать со мной в экспедицию. При обсуждении логистики выявилось принципиальное расхождение: я собиралась опираться на местных жителей в поиске дикорастущих растений, в то время как ботаники заявили, что местные только все напортят; надо просто арендовать машину, ездить, оценивать природные ландшафты профессиональным взглядом и идти в лес самостоятельно. К тому времени уже несколько лет продолжалась война с наркотиками, президент Дутерте разрешил полицейским расстреливать наркодилеров и наркоманов прямо на месте (весь Университет Филиппин до сих пор обклеен листовками против extrajudicial killings). Я представила себе, как на нашу группу из трех богатырей и меня, шастающих по чьему-то лесу (бесхозных лесов на Филиппинах нет) без разрешения, отреагирует полиция. И напротив, какова будет реакция, скажем, владельцев нелегального поля марихуаны, спрятанного в чаще. Тут (в мае 2017 г.) как раз произошла резня в Марави, было объявлено военное положение, началась война, и я экспедицию отменила. Что не помешало мне в том же году поехать в окрестности этого осинового гнезда на Минданао с даже более бесшабашным, но не оспаривавшим мои решения и настроенным на контакт с местными жителями коллегой.

Я в основном работаю на севере архипелага, но время от времени езжу на юг в наиболее интересные для антрополога места — в отдаленную горную местность или на мелкие острова и побережье. Здесь, помимо НРА, существуют дополнительные угрозы — исламские террористы и просто современные пираты, которые регулярно похищают людей на выкуп и на органы. В конце 2017 г. мы с выпускником кхмерско-вьетнамского отделения Восточного факультета Р.В. Федоровым, с которым до того работали в экспедиции у коренных народов Камбоджи под руководством С.Ю. Дмитренко, совершили несколько полевых выездов на юге архипелага [Станюкович, Федоров 2018]. Полномасштабная война между «Абу Сайаф» и другими группиров-

ками, связанными с ИГИЛ, с одной стороны, и правительственными войсками — с другой, длилась с мая по октябрь. В декабре военное положение было в силе, ситуация продолжала оставаться напряженной. Мы приехали на остров Минданао перед Рождеством, все опасались атак «Абу Сайяф» на христианские города и деревни. Нашей целью были анимисты тболи, коренной народ, живущий в глубине провинции Южный Котабато. Ехать к ним надо через территории, населенные мусульманами и христианами. Лин, племянница сказительницы Йе Гас, к которой мы собирались, встретила нас в аэропорту. Весь день мы ехали в стареньком микроавтобусе и периодически, проезжая мусульманские территории, по команде Лин ложились на сидения, чтобы в окна не было видно наших чуждых лиц.

В самой деревне все было прекрасно и безопасно. Мы записали эпическое сказание Тудбулоль, взяли интереснейшие интервью у сказительницы, местных стариков и музыкантов, сняли видео и купили традиционные вещи для музея. Однажды мы до смерти напугали семейство Йе Гас: пошли в конец деревни на ближайшую гору, где, по словам детей, можно поймать сеть и позвонить (наши домашние, конечно, волновались, что от нас долго нет вестей). Это была глупость: территория, куда мы отправились, была уже подконтрольна местным НРА, группировке “Агав пула” («Красное солнце»), о которой я прежде никогда и не слышала. Так мы мимолетно и, к счастью, без последствий нарушили основной принцип безопасности — слушаться (взрослых) местных жителей.

В завершение скажу, что в Камбодже надо внимательно смотреть на знаки, указывающие на неразминированные минные поля: они бывают в самых неожиданных местах, вдоль дорог, около деревень. На Филиппинах такой опасности нет.

1.2. Угрозы жизни: стихийные бедствия

Филиппины занимают первое место в мире по количеству и качеству естественных катастроф. Антрополог в ходе полевой работы не может с ними не столкнуться. Тайфуны, землетрясения, цунами, наводнения, оползни, сели, обвалы, извержения вулканов. Страна находится на стыке двух литосферных плит — материковой и океанической. Эти плиты постоянно движутся по отношению друг к другу, разлом проходит посередине по длине архипелага. Результат — постоянная сейсмическая активность и вулканизм. Из относительно недавних самых впечатляющих примеров — в Багио, летней столице Филиппин, во время землетрясения 1990 г. в трещину, образованную разрывом земли, попадали дома и отели, и земля снова сомкнулась над ними. Общая длина разрыва составила 125 км, число погибших —

1621 человек. Могут поделиться личными впечатлениями о землетрясении 2012 г. магнитудой 6,9 на острове Негрос. Много народу погибло под обломками зданий (теперь не только в городах, но и в деревнях дома предпочитают строить из цемента), еще больше было раненых и оставшихся без крова. Ожидали цунами, вследствие чего весь прибрежный город Думагете перенесли к нам в Валенсию, расположенную чуть выше в предгорьях. Землетрясения — повседневная реальность. Особенно опасно, когда они происходят ночью: гибнет много спящих.

Извержения вулканов также происходят регулярно. Катастрофическое извержение вулкана Пинатубо (1991), например, не только погубило огромные территории к северу от столицы, но и фактически прекратило независимое существование нескольких групп аэта (негрито), говорящих на разных языках, которые никогда уже больше не смогли жить в собственных несмешанных сообществах. Последнее крупное извержение я застала совсем недавно. Чтоб не повторяться, приведу цитату: «Когда я вернулась из Обандо в Манилу, 12 января 2020 г., произошло извержение вулкана, парализовавшее жизнь в столице и вокруг нее. Вулкан Тааль находится на острове в центре одноименного озера. Жители острова были эвакуированы. Пепел засыпал поля, погубил рыбу в озере; вулканическая активность продолжалась» [Станюкович 2020: 133]. Авиаперелеты были запрещены, на улицу нельзя было выходить, вулканический пепел, оказывающий на легкие цементирующее действие, витал в воздухе. Только через неделю мне удалось уехать из Манилы на Висайские острова, вынужденно изменив маршрут: по теме этого полевого выезда (народный католицизм) я после Обандо должна была ехать в два других тагальских паломнических центра, находящихся как раз в районе извержения.

В этом году исполнилось пятьсот лет путешествию Магеллана. Корабли его плыли в неизвестность через Тихий океан, подчиняясь господствующим ветрам, и 17 марта 1521 г. естественным образом уткнулись именно в Филиппины. И сегодня ветра на этом гигантском прогоне набирают силу и превращаются в тайфуны. Соседние Индонезия-Малайзия страдают от тайфунов гораздо меньше и потому носят название «земля под ветром»; катастрофы в Японии, имеющие максимальный резонанс, — результат тайфунов, уже прошедших по Филиппинам или «промахнувшихся» мимо них. Полевая работа в Японии несравненно безопаснее по всем статьям [Станюкович 2014]. В Кордильерах, где я работаю, тайфуны бывают несколько раз в год. В ноябре 2020 г. мощнейшие тайфуны буквально «разутюжили» долину реки Кагаян и привели к разрушительным наводнениям, а у нас, в провинции Ифугао, вызвали оползень, который похоронил заживо более 20 человек.

Наводнения в тропиках происходят мгновенно. В один из последних полевых выездов я, вернувшись с гор, остановилась переночевать у коллеги-антрополога из Национального музея Филиппин в очень благополучном, т.е. высоко расположенном, районе столицы. С утра все было спокойно, шел несильный дождичек, а к вечеру вода поднялась на несколько метров, залила улицы, транспорт перестал ходить. К ночи вода полностью залила первый этаж дома, где я остановилась. Это семечки, конечно, хуже всего приходится беднякам-скваттерам, которые селятся вдоль рек на ничейной земле. При подъеме воды их лачуги сносит, и они гибнут первыми (многие — пытаюсь спасти свою домашнюю скотину и птицу).

1.3. Угрозы жизни: болезни

Наводнения опасны также своими эпидемиологическими последствиями, особенно в перенаселенных городах. Вода размывает отхожие места и свинарники-курятники и разносит их содержимое по улицам, домам, университетским аудиториям. Все это оседает, и начинаются эпидемии, распространяется туляремия, филяриатозы, кишечно-желудочные заболевания и другие болезни, переносчиками которых являются крысы. Это усугубляет обычную неблагополучную ситуацию: во влажном тропическом климате, где по полгода длится сезон дождей, ничего не сохнет, комарам — разносчикам тропических лихорадок готов стол и дом везде. О лихорадках надо сказать особо.

Имеет смысл, на мой взгляд, рассматривать реакцию всего мира в 2020 г. по поводу коронавируса и последствия связанной с ней истерии с точки зрения постколониализма. Благополучные и относительно благополучные страны Европы и Северной Америки впервые оказались перед лицом опасности, которая в странах третьего мира присутствует постоянно. Локдауны, которые вводили богатые страны, вслед за ними в невообразимо усиленном виде копировали страны бедные. Миллионы беднейших в тропиках потеряли средства к существованию, они голодают. Все мы, восточники, в 2020–2021 гг. постоянно высылает деньги своим информантам на Филиппины, в Индонезию-Малайзию. Сколько еще погибнет от самых разных болезней, которым истощенные голодом люди не могут сопротивляться? Корреляция между уровнем недоедания и смертностью от инфекционных и вирусных болезней совершенно очевидна даже по данным филиппинской государственной медицинской статистики за 2019 г. [Dating 2020].

Что такое коронавирус по сравнению с церебральной малярией, желтой лихорадкой, лихорадкой чикунгунья и лихорадкой денге, от которых на Филиппинах ежегодно гибнут тысячи?

Просто еще одна, возможно более заразная, но несомненно менее смертельная инфекция. Между тем запрет выходить из дома (с угрозой расстрела на месте) поставил на грань голодной смерти тысячи и тысячи в одной только Маниле: президент Дутерте распространил карательные полицейские меры, введенные прежде под флагом борьбы с наркотиками, на нарушителей режима изоляции. Нет никакой статистики смертности среди нигде не учтенного беднейшего населения 14-миллионной столицы, живущего тем, что зарабатывают за день случайной поденной работой, разбором помоек, продажей уличной еды и всяких мелочей в розницу проходим и проезжим (в обычное время на улицах Манилы всегда пробка, торговцы и нищие стучатся в окна машин). Им никто не выдает даже несколько килограммов риса в месяц, как учтенным беднякам среди коренных народов на *ancestral territories*, например тболи на о. Минданао. Каждый третий, ну, может быть, четвертый мужчина на архипелаге зарабатывал вождением трайцикла (мотоцикла с коляской) или трайсикада (велосипеда с коляской). На что они прожили весь 2020?

В 2019 г., накануне ковидного года, на Филиппинах была вспышка полиомиелита, а также лихорадки денге (не только на Филиппинах). Последняя благополучную часть мира взволновала было, но не слишком. Эпидемиолог Оливер Бреди (Brady) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отмечал: «Существует небольшой риск для Европы и Соединенных Штатов, не столь страшный, как мы ожидали. Напротив, денге будет концентрироваться в тех регионах, где она уже присутствует, включающих Африку, Азию и Южную Америку»¹.

Возвращаясь к собственному полевому опыту: я переболела лихорадкой денге и малярией, выздоровление от последней заняло у меня полтора года. Дважды перенесла на Филиппинах тропическое воспаление легких. Выработала аллергию на черную плесень, которой в сезон дождей и после него, в холодные зимние месяцы, покрыто в Ифугао абсолютно все. Традиционные деревянные свайные дома с очагами давно сменили цементные наземные, которые не повреждают термиты. Очаг теперь обычно в пристройке во дворе. В декабре-феврале, которые я обычно проводила в поле в Ифугао, температура падает до 12–14 градусов. Без живого огня ничего не сохнет, выстиранная одежда гниет, черная плесень покрывает полы и стены. Теперь я езжу зимой на равнину, а в Ифугао — только весной-летом.

¹ Цит. по: <https://www.directrelief.org/2019/10/this-is-the-worst-dengue-year-in-nearly-a-decade-it-may-get-worse-from-here/?fbclid=IwAR2VYc1LZtiIRZT0cSF6l_lOLACKfgqA2IU7Zmg72LdxCzm2KnSZ3LXjly>.

Один из страшнейших тайфунов XXI в., известный во всем мире как Хайян, а на Филиппинах как Иоланда, обрушился на архипелаг в ноябре 2013 г. У меня тогда был грант Президиума РАН по корпусной лингвистике, дававший возможность вывезти в поле несколько молодых участников проекта. Эпидемиологическая ситуация после тайфуна была настолько неблагоприятна, что я бы перенесла экспедицию на несколько месяцев, если бы один из участников, мой ученик С.Б. Клименко, не вылетел бы уже туда за несколько дней до катастрофы. Я полетела вслед за ним, но отложила поездку других членов группы. Всем вместе нам удалось поехать только летом 2014 г. [Касаткина 2015].

Кардинальная смена климата и диеты, равно как и длительные авиаперелеты, также небезопасны. Всем известен хрестоматийный пример В.Г. Кузнецовой, поплатившейся рассудком за свою легендарную многолетнюю экспедицию на Чукотку (о ней см.: [Михайлова 2015]); одной из причин врачи тогда называли резкую смену диеты. Тяжелая болезнь моего молодого коллеги, к счастью, чисто физическая (о чем мы с ним периодически шутим), также, по-видимому, была спровоцирована тем, что, стосковавшись за два года на Филиппинах по молочным продуктам, он по возвращении домой резко нарушил кислотный баланс умеренным потреблением молока с черным хлебом.

Чтобы закончить тему угроз здоровью в поле, добавлю, что в феврале 2018 г. на о. Себу мне попала инфекция в палец. Меня сначала неудачно оперировали в Маниле, а потом извлекли загноившуюся кость дома, в Военно-медицинской академии. А в сентябре того же года, когда меня пригласили на Филиппины для вручения награды за изучение языков и культуры, вместе с оной я получила гипс: имела глупость шархануться от машины на тротуар и сломала руку. По тротуарам в Маниле не ходят: в сентябре, в сезон дождей, они покрыты водорослями и лишайниками и скользкие, как коток.

1.4. Угрозы помельче: транспорт, насекомые, змеи, собаки

Несмотря на плотность, хаотичность и экзотические особенности филиппинского наземного транспорта (например, привычка перевозить 5-метровые стволы бамбука, притороченные к мотоциклу иногда вдоль, а иногда и поперек дороги), я не нахожу его опасным ни в качестве пешехода, ни в качестве пассажира джипни, трайцикла, трайсиада или мотора (мотоцикла без коляски). Филиппинцы вообще очень дружелюбны и привыкли двигаться в толпе, в том числе дорожной, никого не задевая — ни другие машины, ни пешеходов. За 25 лет только раз пара пьяных подростков на мотоцикле подрезала машину, в которой я ехала. Мы испугались не за себя, а за них, а они

отделались царапинами и приводом в полицию. Но вот паромов, особенно ночных, я избегаю. Они всегда чудовищно перегружены и регулярно тонут. Зная это, неуютно засыпать в каюте, а коротать ночь на палубе (чтобы успеть в случае чего прыгнуть в воду) тоже неуютно и холодно.

Насекомые кишат абсолютно везде и очень портят жизнь. В Ифугао я собрала названия почти двух десятков муравьев разной кусачести. Некоторые виды ос и шершней имеют репутацию смертельных, их боятся больше, чем скорпионов. Однажды осиный укус в Ифугао у меня заживал почти месяц. Вернувшись домой, я тут же была укушена Санкт-Петербургской осой — сравнительно безболезненно. Тогда мой муж сочинил стихотворение, начинавшееся словами «Наша русская оса / Не особенно куса!»

Змей, в том числе очень ядовитых, лесных, полевых и водных, на Филиппинах, как и везде в тропиках, огромное количество. Мы встречались, но они меня не трогали.

На Филиппинах чудовищно паршивые, покрытые лишаями собаки, даже у хороших крестьянских хозяев, которые их кормят. Это отвращает меня от желания их погладить, естественного при моем собаколюбии. И это хорошо, поскольку очень много случаев бешенства. В Камбодже на вопрос «чего вы боитесь?» информант обычно отвечает: «Что меня собака укусит».

2. Угроза сексуального домогательства

Я закончила филиппинское отделение Восточного факультета в 1977 г., но по причине советской власти в поле по своей специальности получила возможность ездить только с 1990-х. В первую поездку в горы Лусона мне исполнилось 40 лет, пик угроз домогательств был пройден. Да и вообще на Филиппинах к женщинам отношение куда более уважительное, чем в других странах света. А уж там, где я в основном работаю, в горском обществе бывших охотников за головами, тем более — здешнему независимому положению женщины и гендерному равенству может позавидовать любая культура. Свататься за меня пытались, но и только.

До этого со студенческих лет я ездила в Центральную Азию, Казахстан, Дагестан, на Кубу. С опасными домогательствами сталкивалась дважды, оба раза они исходили от местных партработников. В мою первую экспедицию, в Бухарский оазис, на меня положил глаз местный инструктор райкома, и спастись от него пришлось в ходе прямо-таки голливудско-ковбойской погони. Второй, менее опасный случай был на Кубе, здесь помог статус иностранца. Я говорю именно о прямой угрозе физиче-

ского насилия, а не о разнообразных проявлениях навязчивого внимания, с которыми всегда и везде сталкивается любая женщина. Несмотря на то что сейчас принято квалифицировать их все как опасные, в большинстве случаев в поле женщина-антрополог эти ситуации может без особого труда переломить, а иногда даже обратить на пользу дела.

Антрополог, выезжающий в поле, должен знать, конечно, какая одежда, какое поведение в изучаемой культуре воспринимаются как демонстрация готовности к сексу, как отказывать, не вступая в конфронтацию, а главное — как предотвращать двусмысленные ситуации, которые могут подавать неверный сигнал. При этом элемент легкого флирта, подшучивания, на мой взгляд, не только допустим, но и полезен для полевой работы. Это естественное поведение, исключение которого делает нормальный контакт с информантами проблематичным, если вы, конечно, хотите вживаться в изучаемую среду, стать частью социума, применять метод включенного наблюдения, а не заниматься исключительно анкетированием.

Вопросы «Имеет ли исследователь право на страх?» и «Совместим ли страх с научным познанием?» вызывают у меня оторопь. Любой нормальный человек испытывает самые разнообразные страхи, и решаясь на отъезд в поле, и в ходе экспедиции, и в процессе публикации научных результатов. Страх за близких, остающихся дома: мне было страшно в голодные 1990-е оставлять без помощи мужа и пятилетнего ребенка, уезжая в экспедицию на год. Страх потерять работу: в 1994 г., когда я уезжала в поле по гранту Wenner-Gren и наш тогдашний директор отказался оформить мой отъезд как командировку, угроза увольнения была очень реальна. Страх болезни, смерти — глухой потенциальный и острый окказиональный: «Каждый сама-баджао (кочевой народ, живущий в лодках на Филиппинах, в Индонезии и Малайзии. — М.С.) всегда боится быть проглоченным акулой! Акулы везде, здесь, конечно, тоже», — как говорили информанты-баджао, когда мы с ними, закончив очередную многочасовую запись эпического сказания, исполнявшегося в лодке вдали от берега, попрыгали в море и счастливо вокруг этой лодки плавали. Страх неправильно понять и быть неправильно понятым. Страх, что ты что-то примысливаешь, что в угоду выстраивающейся в твоей голове теоретической концепции неправильно интерпретируешь факты, что сложившийся за годы общения с информантами «общий язык» уводит в сторону, что информанты под тебя подстраиваются [Станюкович 2016]. Страх подвести информанта, быть отвергнутым изучаемым сообществом, научным сообществом, страх репрессий государства (исследуемого: в изучаемую

страну не пустят — или своего). Американские коллеги говорили мне в Йеле, что боятся потерять семью, уезжая в долговременную экспедицию (что нередко и происходит). И более специфичные страхи. Африканист В.Р. Арсеньев, например, боялся пройти посвящение в союз охотников, «дойти до конца веревки», после чего с ним должно было случиться рационально необъяснимое перемещение, что вызывало в нем страх потерять рассудок.

Про негативные эмоции. Отдельные случаи, отдельные особи и их поступки могут вызывать неприятие, отвращение и даже гнев — это нормальные человеческие реакции, их нечего стыдиться и незачем скрывать. Окружающие вас поймут, с большой вероятностью поддержат, это может предотвратить повтор и развитие нежелательного для вас поведения. Другое дело, что надо знать, как эти эмоции проявлять. На Филиппинах, например, совершенно недопустимо кричать, плакать, возмущаться. Плохо, если антрополог виду не подает, а сам, как писал Зошенко, «затаил в душе некоторое хамство». Тем более если распространил негатив на все поле. Антрополог должен любить изучаемый народ, изучаемое сообщество. Не быть беспристрастным, а именно любить, потому что не любя, нельзя понять (а вот любовь и понимание отнюдь не мешают видеть недостатки). Люди другой культуры, тем более другой эпохи слишком сильно (на поверхностный взгляд) отличаются от нас. Чтобы понять, нужно почувствовать глубинное родство, иначе с неизбежностью возникает спесивое отношение сверху вниз, а это профессиональная непригодность. Антропологические штудии, повествующие в *patronizing* тоне о том, как плохи их изучаемые и почему именно они так нехороши, не вызывают ничего, кроме брезливости. Почувствовал в себе эту спесь — меняй объект исследования (а может, и специальность): здесь тебе ничего научного не светит.

Абстракцию любить нельзя. На мой взгляд, совершенно необходим хотя бы единовременный опыт длительного погружения в изучаемую среду, который формирует антрополога как профессионала (потом он может возобновляться в ходе более краткосрочных поездок). Тот самый год и три месяца Штернберга-Богораза, когда один, максимум два антрополога кочуют вместе с оленеводами Сибири или охотниками-собирающими в Африке, работают на полях и участвуют в праздниках тропической деревни, разделяют повседневные заботы и интересы жителей латиноамериканского городского предместья. Опыт, являющийся обязательным условием профессиональной квалификации в странах, занимающих сегодня лидирующее положение в антропологической теории.

Библиография

- Касаткина А.К.* На Филиппины с лингвистами. Экспедиция лета 2014 года // Федорова Е.Г. (отв. ред.). Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 15. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 260–279.
- Михайлова Е.А.* Скитания Варвары Кузнецовой. Чукотская экспедиция Варвары Григорьевны Кузнецовой. 1948–1951 гг. СПб.: МАЭ РАН, 2015. 190 с.
- Станюкович М.В.* Календарь экспедиции на Филиппины 1994–1995 гг. // Материалы полевых этнографических исследований. Вып. 4. СПб.: МАЭ РАН, 1998. С. 66–72.
- Станюкович М.В.* Обзор последних шести экспедиций на Филиппины (2008–2013) и кратких полевых выездов во время работы в Японии (2010) // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 418–428.
- Станюкович М.В.* Полевые методы в экспедициях на Филиппины: общий язык и как с ним бороться // Архипова А.С., Неклюдов С.Ю., Николаев Д.С., Рычкова Н.Н. (сост.). Методы и концепции в фольклористике и культурной антропологии (конец XX — начало XXI века): Материалы XVI Междунар. школы-конференции по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии. М.: РГГУ, 2016. С. 71–73.
- Станюкович М.В.* Эпос и обряд: обзор полевых материалов по похоронному сказанию яттука (йаттука), записанному на Филиппинах в феврале 2012 г. // Федорова Е.Г. (ред.). Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 17. Памяти Е.А. Алексеенко. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 191–212.
- Станюкович М.В.* Полевая работа далеко и близко: вопросы верификации // Наумова Ю.Н., Петрова Н.С., Рычкова Н.Н. (сост.). Наука как процесс: верификация знания и/или языки описания. Сборник тезисов и материалов XVIII Международной школы-конференции. М.: РГГУ, 2018. С. 141–145.
- Станюкович М.В.* Пляски плодородия: церковь Пресвятой Девы рыболовной сети, Танцующего св. Пасхалия и св. Клары Ассизской на Филиппинах и ее языческое наследие // Вестник РГГУ. Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 5. С. 112–139. doi: 10.28995/2686-7249-2020-5-112-139.
- Станюкович М.В., Козинцев А.Г.* Крестики и нолики = кролики. О некоторых элементах тайного языка похоронных сказаний яттука, Филиппины // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г. СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 267–275.
- Станюкович М.В., Федоров Р.В.* Неотложная полевая этнография Юго-Восточной Азии. Север Камбоджи и юг Филиппин // Кунсткамера. 2018. № 1. С. 109–121.
- Dating M.J.P.* Mapping of Vector-Borne Disease (VBD) Hotspots in the Philippines: Constructing a Vector-Borne Disease Vulnerability Index using AHP. <<https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/4.7.1%20Mapping%20of%20Vector-Borne%20Disease%20Hotspots%20in%20>

the%20Philippines%20Constructing%20a%20Vector-Borne%20Disease%20Vulnerability%20Index%20Using%20AHP.pdf?fbclid=IwAR2mYieP7PH57cT-VT1LvccdlapPvmpedxTNd980f6J6eLalmUzrt4e0H4U>.

Stanyukovich M.V. Abstract of the Final Report on the Fieldwork in the Philippines in 1994–1995 Funded by the Small Grant of the Wenner-Gren Anthropological Foundation. Biannual Newsletter of the Wenner-Gren Anthropological Foundation. N.Y.: S.n., 1996. P. 209.

ГЛЕБ СТУКАЛИН

Я не обладаю большим весом в академической среде, но все же принял решение написать в этот номер. Мне кажется, что мой опыт работы в поле, где присутствует опасность, может стать весомым вкладом в дискуссию: в мой последний выезд ситуация в поле была осложнена из-за стремительно развивающегося политического конфликта, и нестабильность нарастала по экспоненте в то время, как я собирал материал.

Я отлично понимаю, почему назрела необходимость обсуждения темы опасности в поле в русскоязычной сфере, причины (перекладывание ответственности с исследователя на институцию, требования «сдать» информантов со стороны правоохранительных органов etc) прекрасно изложены в приглашении и не нуждаются в подробном рассмотрении. Я готов отстаивать взгляд, который может показаться консервативным: исследователь обязан думать своей головой, проводить предварительный «рисёрч» и не терять чуйки в поле. Этот мой взгляд вытекает из того пути, которым я пришел в антропологию: по дружбе я попал на полевое исследование в стиле гонзо и от восторга с головой нырнул в незнакомую мне дисциплину со своим бэкграундом в виде востоковедения, альпинизма и автостопных трипов по горячим точкам. Все эти занятия (и востоковедение тоже) не предполагают комфорта и строгого следования требованиям техники безопасности, скорее требуют подчиняться интуиции и жизненному опыту, как бы мал он

Глеб Дмитриевич Стукалин

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург, Россия
glebstukalin@gmail.com

ни был поначалу. В конце концов, само занятие антропологией, даже в рамках теории, уже опасно тем, как оно меняет взгляд человека на окружающую действительность. Не за этим ли мы здесь собрались, не дарит ли вам прочтение новой дерзкой статьи легкое ощущение эндорфинового и адrenalинового «прихода»?

1

Итак, опасности. Умеренная опасность в поле всегда присутствует: когда я после интервью в одиннадцать вечера в ноябре брел по неосвещенным улочкам Отрадного с туманными шансами попасть на метро, то тоже нервничал. Однако самое небезопасное поле у меня было в феврале-марте 2019 г. в городе Дели. В подобной ситуации я бы выделил несколько специфических факторов: 1) собираемые материалы (интервью, отчасти поведение участников сообщества, печатная продукция и объявления) оказываются политически окрашены, «пустые» ритуальные действия наполняются новым политическим смыслом; 2) значимые события годового цикла оказываются под влиянием политической обстановки, видоизменяются или отменяются; 3) события развиваются так, что препятствуют сохранению позиции нейтрального наблюдателя.

Читатель нуждается в кратком пояснении того, что происходило в городе Дели и по всей стране год назад: правящая партия BJP, представляющая откровенно шовинистическую повестку индуистов из высших каст (да-да, все, как мы любим: условно белые цисгендерные богатые мужчины), пыталась протолкнуть ряд законопроектов, по которым в теории миллионы мусульман можно было росчерком пера лишить гражданских прав. Один законопроект (Citizenship Amendment Act) предполагал признание нелегальными мигрантами всех граждан, которые не смогут доказать того, что они несколько поколений прожили на территории республики (и это в стране с миллиардным населением, где до сих пор активно продолжается выдача ID-карт, а в свидетельстве о рождении может быть указано «Напротив полицейского участка»). Связанный с ним законопроект предполагал выдачу гражданства всем беженцам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, которые исповедуют индуизм, сикхизм, христианство, буддизм или джайнизм. Резльтирующую этих двух актов легко посчитать. Власти даже начали строить центры временного содержания для будущих нелегалов, хотя вряд ли кто-то во власти всерьез рассчитывал ими пользоваться, это был скорее дополнительный инструмент устрашения. Мусульмане устраивали постоянные сидячие забастовки (сит-ины) во множестве городов, к ним присоединились студенческие активисты, творческая интеллигенция, феминисты, коммунисты и деревенские лидеры всех сортов, шли стычки с полицией. Противостояние приобретало новые грани за счет развития женской

низовой активности: все забастовки круглосуточно поддерживались именно женщинами, которые составляли основную массу протестующих, учили там своих детей, сами слушали лекции и политические выступления — дополнительный удар по образу безмолвной восточной женщины. Мужчины наполнили территории сит-инов по вечерам, после работы. Маленький хостел, откуда я каждое утро шел по направлению к изучаемому мною *даргаху* (мусульманской святой могиле), был набит иностранными туристами, студентами, IT-фрилансерами, беженцами из Кашмира и людьми, которые не смогли улететь на работу в Китай и Тайвань из-за пандемии. Все говорили о политике, надвигающемся коронавирусе и устраивали ночные шабаши в гостиниой, чтобы получить хоть какую-то разрядку. Ощущение Ноева ковчега в ожидании конца света не отступало.

Опасность приближалась трижды, и трижды мне везло. Первый раз — после победы оппозиционной партии на городских выборах. Несколько депутатов явилось на изучаемый мной *даргах*, чтобы поблагодарить *вали* за поддержку. Часть зрителей могилы активно поддерживала эту партию, и меня пригласили на встречу. Я пил с ними чай и мог бы отправиться с процессией на следующую почитаемую могилу (согласитесь, политическое измерение почитания мусульманских святых в современном мире — крайне интересная тема). В пути делегацию расстреляли из пистолетов мальчишки из радикальной индусской организации, один убитый. В тот момент меня спасла природная лень: проводив политиков, я отправился наблюдать, как бродячие дервиши курят гашиш, поют и исполняют зикр в сотне метров от места нашего чаепития.

Второй раз мне повезло 25–27 февраля. Я отправился на 700 километров южнее в город Ахмедабад, чтобы сменить обстановку, посмотреть на местные старый город и *даргах* и отпраздновать свой день рождения. (Еще и встрять в аэропорту из-за визита Дональда Трампа, как оказалось.) А в итоге я каждые полчаса читал в ленте «Инстаграма» о количестве убитых: радикальные индусские коммуналисты (патриарх нидерландской индологии ван дер Веер против этого термина, но у нас он закрепился, пускай) решили поприветствовать американского президента тем, что три дня подряд выжигали мусульманские кварталы на востоке Дели при пассивной поддержке полиции. Я даже не знаю, как бы я мог поступить тогда, сидя в Дели, ведь в этом пекле остались мои друзья и информанты. Такие события практически не оставляют шанса оставаться неангажированным наблюдателем.

Третья опасность была мнимой, но при этом оказалась самой осязаемой: за сутки до моего отлета ночью на *даргах* прово-

дилась одна из главных церемоний в году — торжественная замена покрывала на могиле. Это происходило всего через четыре дня после относительной стабилизации обстановки, и все участники, сотня мужчин во внутреннем дворе вокруг усыпальницы и вдвое больше женщин и детей снаружи в большом коридоре, были взвинчены. Кого-то из женщин, как выяснили позже, всего лишь дернуло током от неисправного выключателя, но эффект был лавинообразным — крики, кто-то пытается выбежать и найти бамбуковые палки, кто-то звонит в полицию. Было впечатление, что нас пришли громить. Представьте себе это ощущение чистого ужаса: мы, мужчины, заперты во дворе без оружия, а единственный проход забит женщинами и детьми. Я в мусульманской рубаше в окружении людей, которые уже стали мне друзьями, и никаких мук выбора быть не может — это был именно тот момент, когда оставаться нейтральным невозможно, надо выбирать сторону. Единственное, на что я имел право, — это на мгновенные размышления о том, куда спрятать рюкзак с ноутбуком и документами, где взять хоть какой-то снаряд для обороны и у кого, черт подери, ключ от вечно запертого короткого хода. Две минуты предельно осязаемой ситуации войны. Когда все наконец разобрались в ситуации, когда через полчаса приехало несколько десятков полисменов, которые толпились у входа или слушали концерт *каввали*, усевшись рядом со старейшинами с автоматами наперевес, я почел за лучшее тихо улизнуть в хостел, меня трясло.

2

У меня еще нет никого, кого можно назвать учеником, я обсуждаю опасности поля со своими коллегами. Я считаю, что университет в достаточной мере готовит к опасностям поля в рамках учебной программы. Если исследователь встречает неприятности с недоумением, точно ли он в достаточной мере усвоил подготовительный материал? Не ставит ли это под сомнение все остальные его выводы, не пребывает ли он в плену стереотипов об изучаемом обществе? Наверное, университет и исследовательская организация должны аккуратно убедиться в том, что исследователь адекватно воспринимает действительность поля. Организация должна облегчить удел исследователя тем, что даст, по возможности, точки входа и обеспечит какими-нибудь «государевыми грамотами». Но перекладывать на организацию всю тяжесть ответственности за то, что происходит с человеком в поле, представляется мне примером дичайшей инфантильности. В конце концов это не детский сад, а кураторы иногда находятся в тысячах километров от места действия.

3

В поле у меня случались проблемы выбора, хотя моральными дилеммами я бы их не назвал, это довольно обыденные рабочие моменты. Изредка в полях приходилось выпивать или прикладываться к косяку, или же, например, проехаться впятером на

мотоцикле. Я не испытываю проблем с этим, просто стараюсь следовать практикам автостопа: совсем отказываться нежелательно, чтобы не нарушить законы гостеприимства, но порция должна быть минимальной, чтобы оставаться трезвым и контролировать происходящее. В России чаще всего можно отказаться под предлогом работы (это уважительная причина), в Индии с этим хуже. Правда, если собеседник оказывается ценным информантом, панибратства на первой встрече хвататет для установления доверия. Если постоянная связь, напротив, ведет от трезвой беседы к выпивке, то, скорее всего, вся ценная информация уже получена, и можно вежливо уклониться. Не знаю, насколько эта схема работает для остальных, но я придерживаюсь ее.

Индийские стереотипы мужского поведения могут быть некомфортными и шокирующими для выходца с севера: много объятий и специфических разговоров, при этом женская сфера оберегается от чужаков гораздо более тщательно. При работе с *хиджрами* (условно индийская каста трансгендерных людей) мужчине легко почувствовать себя жертвой сексуального насилия: они представляют в своем ежедневном поведении как бы инвертированную модель «женского», активно идут на контакт с мужчинами, очень общительные и очень тактильные, приходится постоянно уворачиваться от рук. Но длительного психологического дискомфорта это не доставляет (возможно, я очень толстокож).

Мне еще не доводилось сталкиваться с серьезным конфликтом интересов в поле. На исследованиях в России иногда чиновники под запись выдают удивительные вещи («Видите домик? Там Ляля наркотиками торгует». — «А почему полиция ей не препятствует?» — «Так они сами у нее закупаются, говорят, самый качественный дилер!»), но мы просто старались не акцентировать на этом внимание, поскольку изучали другие темы.

4

Имеет ли право исследователь на негативные эмоции? Конечно, имеет, страх является одной из базовых эмоций, и сказать обратное было бы по меньшей мере лицемерием. Мы испытываем симпатию или антипатию ко всем информантам. Конечно, специфическая антропологическая оптика позволяет подходить к людям с более гибким набором критериев и находить в каждом хорошие черты и трогательную историю (как булгаковский Иешуа: «Этот хороший человек такой плохой, потому что другие хорошие люди сломали ему нос»), избавляет от стереотипов и ксенофобии. Но безусловное принятие имеет свои пределы, а чувство страха естественно. Тем более если негативные эмоции вызывает не отдельная личность, а вся ситуация поля. Проговаривание своего страха нужно одобрять. Порицание чувства

страха, стыд никакой пользы принести не могут, они лишь продолжают консервативный насильственный дискурс, обращая его на исследователя (будь он патриархальный, колониальный или другой на ваш выбор).

Я хочу, скорее, обратить внимание на то, каким именно образом проговаривается этот страх. Попытаюсь максимально корректно и завуалированно изложить ситуацию, которая вызвала у меня этические вопросы (которые я, кажется, не в полном праве задавать, поскольку сам в том поле по стечению ряда обстоятельств не оказался). Команда исследователей должна была направиться в малодоступное поле (что подразумевает заблаговременное решение проблемы транспорта и контакты с информантами задолго до самого поля), и в последний момент стало известно, что в районе проведения исследования произошла небольшая техногенная катастрофа. Часть людей, которых я безмерно люблю и уважаю, отказались ехать. Меня смутил не их страх, но то, как он был изложен: многословными рассуждениями о достоинствах переноса исследования на следующий год, философскими дебатами и этическими завитками. Я считаю, что прятать свой страх от самого себя за подобными рассуждениями по меньшей мере непрофессионально. Более того, это разрушает всю атмосферу современной антропологии: огромными усилиями на протяжении долгого времени с информантами выстраивалась доверительная связь, мы доказывали им, что можем быть им полезны и не являемся странными столичными пришельцами. И в период, когда местные жители, брошенные государственной машиной, которая замалчивала даже сам факт произошедшего, находятся в глубочайшем кризисе и пытаются разобраться в опасности, мы вдруг ищем отговорки, чтобы не ехать — не надеваем ли мы на себя снова такой ненавистный пробковый шлем? «Пожалуй, приедем к туземцам, когда эпидемия лихорадки закончится». В проблеме, которую высветила эта ситуация, много граней, и я не вижу простого решения. Она как раз про основную тему дискуссии — как взвесить все pro et contra, как определить, получится ли провести исследование, не пострадать и не нанести вред информантам. Мы ведь к тому же пытаемся доказать себе и окружающим, что приносим пользу, а не только получаем специфическое удовольствие любопытствующего за счет подопытных. Мое предположение прозвучит высокопарно, но я считаю, что в момент, когда вы переступаете условный порог поля, спасет лишь предельная честность, причем с самим собой в первую очередь. Под честностью с собой я подразумеваю то, что исследователь знает все свои слабые стороны и красные линии и не пытается с ними бороться и делать вид, что таковых не существует, а учитывает наряду с другими факторами. А внутри поля спасают в первую голову жизненный опыт и интуиция.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Какие риски?

Вопросы «Форума» приглашали поразмышлять о полевых рисках для антрополога и их меняющемся значении в современном мире. В своих формулировках мы предложили набор основных вариантов от «классических» рисков далеких экзотических полей и моральных и психологических рисков рефлексивного поворота до проблем, которые ставит нарождающаяся культура гипертрофированной безопасности. Участники дискуссии, как и всегда, скорректировали и дополнили этот список и по-своему расставили в нем акценты. Наши коллеги сразу же вернули нам вопрос о рисках, отметив как их разнообразие, так и невозможность определить их раз и навсегда. «Одни риски угрожают здоровью исследователя, другие ставят под вопрос возможность когда-нибудь вернуться в данное поле, третьи могут подорвать доверие к антропологам как к корпорации, четвертые поставят под угрозу доброе имя фондов и научных учреждений, управляющих нас проводить исследование, и т.д.», — пишут Елена Лярская и Штефан Дудек. «Безопасность и полевые риски исследователя сами по себе не нейтральные понятия, они производятся в рамках отдельных привилегированных обществ, которые могут позволить себе академическую науку», — указывает Андрей Возьянов. Поэтому и стоит задуматься над контекстуальным содержанием этих понятий.

Мария Михайловна Пироговская

Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
mpirogovskaya@eu.spb.ru

Александра Константиновна Касаткина

Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург, Россия
alexkasatkina@gmail.com

Во-первых, очевидно, что угрозы жизни и здоровью полевика отнюдь не остались в прошлом. Непривычный климат и пища, инфекционные болезни и стихийные бедствия по-прежнему поджидают исследователей из европейских стран в тропиках (Мария Станюкович). Пули повстанцев или полицейские дубинки могут настигнуть антрополога не только в известных зонах военных действий, но и на улицах мирных городов, которые усилиями разнообразных акторов (включая полицию) мгновенно могут превратиться в поле битвы (Мария Станюкович, Глеб Стукалин). Опасности самого разного масштаба поджидают не только на далеких Филиппинах или в Индии, но и повсеместно на постсоветском пространстве, включая «безопасные» Москву и Петербург (Ирина Козлова). Сейчас, однако, из огромного разнообразия вопросов и полей антрополог может выбирать сопряженные с большими или меньшими опасностями для физического здоровья. Можно собирать материал по политической антропологии на уличных акциях, а можно — в политизированных социальных сетях в интернете. Можно изучать фольклор и ритуалы в тропиках, а можно — в русской деревне. Интернет и цифровая этнография — вполне легитимный выбор поля для современного антрополога. «Удаленная этнография», т.е. поддержание контакта с полем через интернет, стала выходом для тех, чьи поля стали опасными уже после выбора темы (Андрей Возьянов) или сделались недоступными из-за неуправляемых внешних обстоятельств.

«Риск быть убитым или похищенным, опасность заражения тяжелыми, часто смертельными болезнями и риски, связанные со стихийными бедствиями, никуда не делись и остаются повседневной реальностью. Но не для всех. Многие традиционные для антропологии полевые территории (Азия, Африка, Южная Америка) у нас сегодня просто не берутся в расчет» (Мария Станюкович).

Дело не только в том, что степень риска не входит в признанные критерии оценки качества работы исследователя. Престижному журналу все равно, вынесли ли вы свой материал из-под пуль революционеров в тропических болотах или собрали его, сидя дома в уютном кресле перед монитором. Кроме того, по крайней мере в России, этнографам, которые ездят в тропики, не хватает институциональной поддержки. Кое-какая поддержка для сибирских экспедиций в российских институтах организована, хотя бы в виде ежегодной вакцинации от энцефалита. Но для тропической экспедиции необходимо гораздо больше прививок, подчас довольно экзотических для российской медицины, а значит, дорогостоящих. Нужно признать, что у руководства эта проблема встречает понимание, и все же попытки ее решить наталкиваются на множество бюрократических пре-

пятствий и до сих пор были безуспешны. Российские антропологи перед поездкой в тропики прививаются за свой счет.

Более того (и это, возможно, даже обиднее), в российском профессиональном сообществе этнографов между теми, кто работает в рискованных зонах, и теми, кто сосредоточился на более близких и безопасных полях, существует непонимание. Зачем ехать под тайфуны и в малярийные болота, если можно работать в родной средней полосе или вовсе в архиве или интернете? Не приходится удивляться, что представители такой точки зрения не откликнулись на этот «Форум». Может быть, в их глазах этнографы, которые выбирают далекие и опасные поля, сравнимы с любителями рискованных видов спорта, дайверами или альпинистами, «адреналиновыми наркоманами», которые ищут опасности ради нее самой? Конечно, эту искусственно реконструированную и оттого неизбежно преувеличенную и искаженную позицию легко оспорить. Антропология изначально и традиционно была нацелена на поиск ответов на вопросы гуманитарных наук в далеких землях (Мария Станюкович), инаковость поля принципиально важна и по-прежнему формирует ту оптику, которая позволяет антропологам предлагать свой уникальный взгляд и на процессы в «близких» обществах. В то же время Елена Лярская и Штефан Дудек напоминают о необходимости взвешивать риски и о том, что ценность научного поиска все же не может быть абсолютной: «Мы полагаем, что об этих угрозах нужно говорить больше, но не с целью запугать или ограничить студентов, а чтобы напомнить им, *что* именно в каждом случае кладется на чаши весов, *чем* они рискуют, отправляясь в поле в горячую точку, в красную зону госпиталя или в поездку с незнакомыми водителями по горам или зимнику, и стоит ли то, что они смогут получить, этого риска <...> Уклонение от сомнительного предприятия может потребовать гораздо больше профессиональных навыков, опыта и решительности, чем участие в нем».

Действительно, и вполне безопасное поле в любой момент может стать опасным, как это произошло с исследованием Глеба Стукалина в Дели.

«В экзистенциальном смысле абсолютно безопасно только небытие: пока человек жив, даже неизменность, сохранение статус-кво несет определенные риски — отсутствие своевременных перемен подчас приводит к тяжелым последствиям. Что-то похожее происходит и в области познания: живое знание требует риска, без которого его невозможно добыть, а иногда и передать. Поэтому избегать риска и в жизни, и в познании опасно, и при обсуждении того, как риск и безопасность могут между собой соотноситься, нельзя упускать из виду, что если

по какой-то причине исследователь вообще лишится возможности рисковать, он попросту не сможет получать новое знание. Таким образом, безопасность при проведении исследования не может быть самоцелью, так же как не может быть самоцелью и погоня за острыми ощущениями» (Елена Лярская, Штефан Дудек).

Открытость новому знанию, идущему из поля, — профессиональное кредо антрополога, и в этом смысле антропологическая работа всегда сопряжена с опасностью — изменения, трансформации себя через познание, что тоже может стать источником эндорфинов, сравнимым если не с восхождением на Эверест, то уж по крайней мере с порывом свежего ветра: «В конце концов, само занятие антропологией, даже в рамках теории, уже опасно тем, как оно меняет взгляд человека на окружающую действительность. Не за этим ли мы здесь собрались, не дарит ли вам прочтение новой дерзкой статьи легкое ощущение эндорфинового и адреналинового “прихода”?» (Глеб Стукалин).

Примечательно, что дискуссанты, объясняя свой выбор участвовать в откровенно сопряженных с опасностью полевых экспедициях, апеллировали не столько к корпоративным ценностям научного познания, сколько к этическим ценностям солидарности со «своим» народом, которые тоже уже стали своего рода корпоративной приметой антропологов. Многолетняя работа с одной и той же группой, приобретенные связи приемного или символического родства дают глубокое знание поля, которое позволяет оценивать опасность и взвешенно принимать решения, так что исследователь «принимает риски на “своей территории”», но понимает и не осуждает новичков, которые предпочитают не рисковать (Мария Станюкович). В то же время в такой ситуации истончается граница между исследователем-профессионалом и человеком — другом, родственником, наделенным моральными обязательствами перед «своим» народом. Подобные дилеммы солидарности возникают даже в полевых проектах, не предполагающих установления длительных отношений с людьми: «Если исследователь проявляет чрезмерную осторожность, он рискует потерять уважение в глазах информантов. В моем полевом опыте был случай, когда я на несогласованном митинге во время интервью побежала от ОМОНа, а когда я вернулась и увидела информанта, чуть отошедшего в сторону, мне стало немного стыдно» (Ирина Козлова).

Кроме того, метод включенного наблюдения требует освоения способов работы с опасностями, принятых в поле. Это часть пресловутого вхождения в поле. «Огромными усилиями на

протяжении долгого времени с информантами выстраивалась доверительная связь, мы доказывали им, что можем быть им полезны и не являемся странными столичными пришельцами. И в период, когда местные жители, брошенные государственной машиной, которая замалчивала даже сам факт произошедшего, находятся в глубочайшем кризисе и пытаются разобраться в опасности, мы вдруг ищем отговорки, чтобы не ехать, — не надеваем ли мы на себя снова такой ненавистный пробковый шлем?» (Глеб Стукалин).

Как завоевать доверие в поле, если не съесть с его жителями пуд соли или, как выражался В.Г. Богораз, не скормить вместе с ними фунт крови вшам [Гаген-Торн 1971: 140]? Здесь этика солидарности с изучаемыми людьми трудно отделима от эпистемологического ноу-хау полевой этнографии, где телесный и эмоциональный опыт поля становятся частью познания полевика.

Риски и антропологическое познание

Само понятие рисков участники «Форума» предложили дифференцировать: во-первых, это риски для исследователя — для его/ее жизни, здоровья (физического и психического), свободы, а также угрозы эмоциональному равновесию. Во-вторых, это риски для самого исследования. Профессионализм антрополога заключается в том, чтобы отдавать себе отчет, зачем ему эти риски, и учесть необходимые и избежать ненужных. Елена Лярская и Штефан Дудек напоминают о необходимости постоянно «сравнивать то, *чем мы рискуем*, с тем, *что хотим получить* в итоге». Однако эта осмотрительная позиция ни в коем случае не сводима к требованию максимальной безопасности. Более того, она формулируется как полная противоположность той «культуре безопасности», которая широко распространилась во многих европейских и американских научных центрах. Без рисков, истолкованных так или иначе, нет и открытий, а абсолютная безопасность не подразумевает никаких изменений или неожиданностей и тем самым отменяет научное познание как таковое. Важно также понимать, что поле, ощущаемое как опасное или рискованное, может быть этим и привлекательно для исследователей, особенно молодых. Так, возможность наблюдать и анализировать конфликт или кризис обещает и богатый исследовательский материал, и шанс быть полезным для изучаемого сообщества благодаря профессиональному навыку смотреть на происходящее одновременно изнутри и снаружи.

Для российских антропологов право на исследование оказалось неотделимо от права на риск, которое интерпретируется в том

числе как возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся своей работы. В этой связи авторы реплик упоминают советских полярных исследовательниц 1930-х гг., расширявших представления о доступных для женщины сферах и видах деятельности. Отстаивание права решать, что рискованно, а что нет, будет объединять их и с земскими акушерками последней трети XIX в., и с британскими альпинистками эпохи суффража, и с североамериканскими женщинами-антропологами интербеллума. В целом участники дискуссии настаивают на своей независимости в принятии решений о полевых рисках и готовы принимать ответственность за все последствия, порой стараясь защищать не только информантов (об этом пойдет речь ниже), но и научную организацию, с которой аффилированы: «Я скорее боюсь, что моя работа в поле привлечет внимание к организации и нашему проекту со стороны органов безопасности, поэтому во время задержания я не рассказала, что я исследователь, и получила административный штраф просто как участница» (Ирина Козлова); «перекладывать на организацию всю тяжесть ответственности за то, что происходит с человеком в поле, представляется мне примером дичайшей инфантильности» (Глеб Стукалин).

В свою очередь, попытки институций (университетов, научных центров, грантодателей) ограничить право на риск под предлогом ответственности за здоровье и благополучие сотрудников интерпретируются как патерналистские покушения на свободу действий и независимость исследователя. Согласование проекта исследования не только по поводу соблюдения полевой этики, но и на предмет минимизации рисков может оборачиваться опасностью, что исследование не состоится вовсе или состоится совсем не так и не в том виде, как было задумано. В Великобритании, Германии, США научные организации порой просто отказываются отпускать аспиранта или постдока в поле, которое администрация или государственные структуры считают опасным. Такая позиция, безусловно, снимает саму проблему и отменяет колебания и муки выбора, что может ощущаться и как патернализм, и как вмешательство в исследование, и как забота — и восприниматься с облегчением. Значит ли это, что часть международного антропологического сообщества интериоризировала новые представления о безопасности и минимизации рисков, и если да, то что это будет значить для будущего антропологии? В этом случае стоит задаться и вопросом о трансформации критериев академической «взрослости». Современные аспиранты воспринимаются и университетской бюрократией, и своими более старшими коллегами как студенты, а учебные программы организованы так плотно, что редко дают возможность набраться полевого опыта у старших. При

этом нормальным академическим треком признается гладкий, без разрывов переход из бакалавриата в магистратуру, а из магистратуры в аспирантуру, что практически не оставляет шанса получить перед «долгим полем» разнообразный социальный опыт, столь важный для ориентации в новой среде.

Отдельную группу составляют психологические риски: угрозы эмоциональному комфорту исследователя, его самооценке и лицу. Антропологи классического периода оставляли переживания этих рисков в личных дневниках, антропологи рефлексивного поворота стали говорить об их эвристической ценности, но в современной антропологии психологический дискомфорт в поле вызывает неоднозначные реакции. Прежде всего речь идет о рисках, которые априори связаны с человеческим взаимодействием: не со всеми людьми приятно и легко разговаривать. В обычной жизни мы стараемся таких людей избегать. В поле наши исследовательские задачи могут подразумевать длительное соприсутствие в том числе с теми людьми, которые нам неприятны, или же требовать долгих бесед с теми, кто пережил травму или тяжело болен (тем более что довольно часто наши собеседники — пожилые люди, свидетели интересующих нас культурных явлений и событий прошлого). Общение с ними не просто может утомить и истощить эмоционально. К. Рэгер описывает, как после глубинного интервьюирования женщин с раком груди об опыте их борьбы с болезнью она сама начала ощущать характерные симптомы [Rager 2005]. Схожий опыт был у одной из авторов этого послесловия: наслушавшись историй об онкологических заболеваниях и операциях в рамках исследования по истории советского атомного проекта, она сама ощутила острую канцерофобию и, как и Рэгер, обратилась за помощью к психологу.

Однако если любое взаимодействие, выходящее за пределы привычного, видится как потенциальная травма, его социальный смысл исчезает. Такой подход, отмечают Дудек и Лярская, «заставляет сосредоточиться на борьбе с источниками потенциальных опасностей и видеть наивысшую добродетель в предупреждении травм». Если так рассуждать, то под вопрос ставится сам выбор профессии: «В конце концов, само занятие антропологией, даже в рамках теории, уже опасно тем, как оно меняет взгляд человека на окружающую действительность» (Глеб Стукалин). Большинство антропологов понимают, что оказываются в поле в открытой и уязвимой позиции, когда уйти от нежелательного контакта может быть невозможно, и видят в полевой работе результат сознательного выбора дискомфорта: «Мне в целом не кажется, что антропологическая полевая работа обязана подразумевать приятные эмоции, во всяком случае на них точно не стоит рассчитывать (хотя здорово, если они случаются)» (Андрей Возьянов).

Эмоции в поле

Проблему переживания неприятных эмоций западная антропология до определенного времени решала двумя способами: путем их редактирования или отбрасывания как мешающих познанию и путем их интерпретации как свидетельства скрытой иерархии и предубеждений. Третий путь, который методологически можно обозначить как «радикальный эмпирицизм», — путь включения нежеланных и пугающих переживаний в работу по осмыслению происходящего, своего места в поле и непривычного социального контекста — наметился в англосаксонской антропологии в рамках рефлексивного поворота (см., в частности: [Davies, Spencer 2010]), хотя в предвестники можно записать уже «Печальные тропики» Леви-Стросса. Вероятно, импульсом к осмыслению эмоций как неотъемлемых импликаций включенности стало их утверждение в качестве легитимного объекта антропологического исследования. К 2000-м гг. западные антропологи пришли с убеждением, что познание чужой культуры происходит в процессе «постепенного освоения через практику» и издержки и последствия такого освоения для познающего субъекта неизбежны [Hastrup 1995]. В этом антропология, которая априорно рассматривает полевую работу как интересубъектную и диалогическую, расходится с более позитивистскими социологическими подходами, рекомендовавшими исследователям не поддаваться эмоциям.

Российские исследователи, откликнувшиеся на наши вопросы, говорят об эмоциях в русле этого рефлексивного поворота: «Опасность возникнет, если у антрополога не будет никаких эмоций. Он не просто имеет право, а обязан чувствовать во время полевых исследований, ведь работа с собственными эмоциями и их анализ — один из наших инструментов» (Елена Лярская, Штефан Дудек). Более того, подавление своих эмоций, умалчивание и избегание разговора о них может нанести вред исследованию: «Отказ от эмоций и их подавление не играет на руку нейтральности и установке научного познания, наоборот, скрытые эмоции извращают смысл и, возможно, ценные знания, полученные в ходе исследования» (Дарья Скибо).

Опыт неприятных эмоций, неловкости, ощущения того, что ты не соответствуешь чужим или собственным ожиданиям, не вписываешься в существующее социальное окружение, можно осмыслить не только как богатый источник для понимания другого общества [Davies, Spencer 2010: 12–13], но и как одну из немногих универсалий человеческого общежития. Переживание такого опыта в поле может быть полезно, хотя «довольно неприятно или трудно переносимо для нас как людей» (Елена Лярская, Штефан Дудек). Это вовсе не значит, что оставаться

в поле нужно любой ценой, иногда «страх или другие негативные эмоции показывают, что что-то идет не так: возможно, нужно выйти из поля прямо сейчас, или для этой полевой работы требуется другой исследователь, с другими характеристиками и другим профайлом, или ситуация в поле изменилась настолько, что сейчас в нем находиться не нужно никому» (Дарья Скибо).

Участники нынешней дискуссии выбирают быть честными и перед собеседниками, и перед собой и стремятся к рефлексивной фиксации своих эмоций в дневнике, обосновывая этот прием и этически, и эпистемологически: «Я для себя решила быть максимально искренней — никогда не скрывать ни того, что я исследователь и чем занимаюсь, ни того, какая у меня гражданская позиция. Если иду на акции к информантам явно неблизких мне взглядов, стараюсь найти общее и с ними, но на их вопросы честно не скрываю существующих разногласий, стараясь, правда, их не выпячивать и говорить о них в наиболее мягкой форме. Главное тут, мне кажется, рефлексировать свои эмоции в полевых дневниках (я всегда подробно описываю все, что я чувствовала в поле и во время каждого интервью) и делать выводы из этого» (Ирина Козлова).

Близкой позиции придерживается Глеб Стукалин: «Специфическая антропологическая оптика позволяет подходить к людям с более гибким набором критериев и находить в каждом хорошие черты и трогательную историю (как булгаковский Иешуа: “Этот хороший человек такой плохой, потому что другие хорошие люди сломали ему нос”), избавляет от стереотипов и ксенофобии». Андрей Возьянов подчеркивает преимущества, которые в подобных случаях исследователю дает теория интерсекциональности. Хотя в одних вопросах позиции исследователя и людей, с которыми он работает, могут быть несовместимыми, важно попытаться найти что-то общее и тем самым создать основу для разговора (Андрей Возьянов). Исследователь может быть категорически не согласен со своими собеседниками, но не может позволить себе относиться к ним с презрением или неуважением (Ирина Козлова).

Дискуссионной оказывается скорее не проблема переживания и проживания эмоций, а эмоциональный перформанс, который необходимо моделировать в соответствии с правилами своего сообщества (это особенно важно на том этапе, когда антрополог уже становится почти своим и его не защищает статус гостя или странного чужака): «Отдельные случаи, отдельные особи и их поступки могут вызывать неприятие, отвращение и даже гнев — это нормальные человеческие реакции, их нечего стыдиться и незачем скрывать. Окружающие вас поймут, с большой веро-

ятностью поддержат, это может предотвратить повтор и развитие нежелательного для вас поведения. Другое дело, что надо знать, как эти эмоции проявлять. На Филиппинах, например, совершенно недопустимо кричать, плакать, возмущаться» (Мария Станюкович).

Важнейшим опытом для наших дискуссантов была возможность разделения эмоций с информантами и сообществом. О рефлексии по поводу страха и стресса пишут Ирина Козлова и Глеб Стукалин. Страх, пережитый совместно с изучаемым сообществом, «уменьшает эффекты внаходимости, становясь неизбежностью включенного наблюдения. Иными словами, если я боюсь в Минске, то становлюсь частью местного эмоционального сообщества и преодолеваю важный барьер на пути к его пониманию» (Андрей Возьянов). Такой подход позволяет увидеть в эмоциях не только и не столько то, что по тому или иному поводу чувствует исследователь, сколько транзакции, разделяемые всеми участниками ситуации взаимодействия и помогающие более полно постигать сообщество изнутри [Luhrmann 1989; Crapanzano 2010].

В целом все участники форума сошлись в том, что испытывать негативные эмоции в поле возможно и порой полезно, а рефлексировать их необходимо. Даже страх, в котором антропологи классического периода никогда бы не признались в публичных текстах, можно счесть нормальной, естественной эмоцией, многое рассказывающей о поле и позиции исследователя в нем. Думать иначе, порицать чувство страха — значит продолжать «консервативный насильственный дискурс, обращая его на исследователя» (Глеб Стукалин).

«Если исследователь постоянно испытывал страх, с чем это было связано? В какой ситуации этот страх возник впервые и почему возвращался? Что заставляло исследователя остаться в поле? Какими ресурсами он обладал, чтобы преодолевать страх или обеспечивать свою безопасность? Какие собственные характеристики заставляли его чувствовать себя уязвимым и перед чем? Я считаю, что описание исследовательского опыта ценно само по себе, работает как прекрасный метод и недооценено в современных социальных науках» (Дарья Скибо).

Однако это не значит, что переживание поля для всех проходит бесследно. Для кого-то способом справиться с неожиданными и тяжелыми ситуациями оказывается сама возможность описывать ситуацию — в полевом дневнике, разговорах с коллегами. О «терапевтической функции этнографии», позволяющей отстраниться от собственных переживаний с помощью письма, говорит Андрей Возьянов. Важным профилактическим навыком оказывается саморефлексия: «Под честностью с собой я под-

разумеваю то, что исследователь знает все свои слабые стороны и красные линии и не пытается с ними бороться и делать вид, что таковых не существует, а учитывает наряду с другими факторами» (Глеб Стукалин).

Нынешние студенты и аспиранты часто говорят о потребности в профессиональном психологическом сопровождении или супервизии, особенно в случае работы в таком поле, из которого невозможно быстро и без потерь выйти. Дарья Скибо также отмечает недостатки профессиональной подготовки и отсутствие сопровождения: «Но часто в защите нуждаются сами исследователи. Профессиональная подготовка социологов практически не предполагает ничего, кроме базовых курсов в области психологии, а научное сообщество социальных исследователей, в отличие от психологов или психотерапевтов, не имеет института супервизии». Однако возникает вопрос, кто мог бы осуществлять такую супервизию в нынешних российских университетах, где преподаватели часто перегружены. Достаточно ли поддержка по почте или по Скайпу? Что делать в ситуациях, когда связь технически затруднена?

Во многих западных и отдельных российских университетах есть психолог, с которым могут бесплатно консультироваться студенты и сотрудники. Возможно, на факультетах, где учат социальным наукам, нужны курсы психологической помощи, где обучали бы не только основам самопомощи, но и навыкам общения с разными людьми. Как подойти к незнакомому человеку? Как управлять течением беседы? Как вовремя завершить разговор? Как прекратить нежелательные действия по отношению к себе и в то же время сохранить контакт? Как установить раппорт, но при этом не зайти слишком далеко? Как не сойти с ума, подолгу живя в чужой культуре и не имея возможности поговорить с себе подобными и даже вдаль от привычной пищи (Мария Станюкович указывает и на важность привычного климата и пищи для физического и психического здоровья, особенно в ситуации классического «долгого поля»)? На такие вопросы мы привычно получаем ответы на собственном опыте или от старших коллег. Может быть, стоит консультироваться с теми, кто занимается этим профессионально и мог бы дополнить инструментарий полевика. Но насколько могут рекомендации профессионального психолога помочь работать с другой культурой, даже если добираться до нее нужно не на перекладных через весь земной шар, а автобусом в ближайший пригород?

Профессиональный этос

Еще один психологический риск связан со спецификой этоса антропологического ремесла: «Доверие и легкость, с которыми

многие мои знакомые идут на контакт, оборачиваются другой стороной — моими самоограничениями в написании комментариев и страхом, что респондентам может не понравиться результат — страхом невольно обидеть людей, доверившихся мне» (Эльза-Баир Гучинова).

«Можно быть принятой за другого в положительном смысле, и тогда появляется риск не оправдать ожидания» (Ирина Козлова).

Антропологу со студенческой скамьи исподволь внушают, что он/она несет огромную ответственность перед теми, кого исследует, и что самое главное — чтобы они остались довольны после завершения исследования. Это не только остаточная этика тех времен, когда антропологи, как правило, работали с менее защищенными группами и ощущали себя представителями их интересов и защитниками. Это ответственность и перед другими исследователями, которые могут прийти в это же поле позже: исследователю нужно оставить благоприятное впечатление, чтобы других антропологов тоже пустили и хорошо приняли. И все же есть ощущение некоторого дисбаланса: антропологи перегружены моральными обязательствами и чувствуют сильное давление, ведь они должны всем, а им как будто не должен никто. Почему только антрополог должен волноваться о том, чтобы оправдать ожидания своих собеседников?

Обсуждение расшифровок полевых интервью с информантами, о котором пишет Эльза-Баир Гучинова, — хороший сюжет, чтобы поразмышлять о том, как можно было бы восстановить баланс отношений в поле. Ведь это проблема не только нативного антрополога, но и любого качественника.

Расшифровки полевых интервью, особенно детальные, со всеми подробностями живой речи, оговорками, паузами и эмоциями, столь необходимыми аналитику, совсем не похожи на гладкие отредактированные интервью, которые мы, а также наши собеседники привыкли читать у журналистов. Классики качественных исследований полагают, что такие расшифровки лучше не показывать собеседникам, чтобы не обижать их и не сбивать с толку [Kvale 1996; Hammersley 2013]. Но иногда нам по разным причинам необходимо это делать. В конце концов, в современном мире наши собеседники легко могут отыскать публикацию и увидеть там фрагменты такой расшифровки и нашу интерпретацию их слов. «Мало того, что человеку не нравится его нарратив, он также не готов к жанру спонтанного интервью. Как мне сказала одна из первых респонденток, “я же так не говорю, когда выступаю с трибуны”. Естественная беспартийная речь со свободными сравнениями и образами кажется некото-

рым респондентам непричесанной, недоработанной мною. Как-то мне даже сказали, что я “не очень старалась” и “не очень получилось”» (Эльза-Баир Гучинова).

Профессионализм в транскрибировании живой речи, внимательное отношение к ее фактуре наши полевые собеседники, незнакомые с нашими методами, могут принять за небрежность и даже отсутствие какого-либо профессионализма (такое обвинение одному из авторов приходилось слышать от своей собеседницы-журналистки). Это тем более обидно, что такое транскрибирование может занимать десятки часов переслушивания аудиозаписи и кропотливого труда. А если человек вообще запретит пользоваться его интервью в таком виде? Тогда исследователь рискует еще и потерять огромный кусок своей работы и важнейший материал! «Конечно, проще всего брать разрешение на публикацию сразу же, до интервью. Но все-таки это не совсем честно. Честно показать весь текст после работы с ним, со всеми комментариями. Но не давать власть решать вопрос о судьбе публикации, а формулировать вопрос как дилемму: вы разрешаете публиковать текст в таком виде или изменить вашу фамилию? В этом случае даже при неблагоприятном раскладе текст интервью не будет потерян для публикации, а конкретные имена рассказчиков часто и не так уж важны читателю» (Эльза-Баир Гучинова).

Эльзу-Баир Гучинову такой горький опыт привел к пересмотру отношений власти в поле: «власть решать вопрос о судьбе публикации» не должна принадлежать информанту. Ведь полевое исследование — это взаимодействие, где у каждого участника, и у исследователя, и у его собеседников, есть свои права и обязанности и свои, различающиеся, интересы. Действуя в интересах научного сообщества, исследователь должен представить как можно более достоверный источник для последующих поколений ученых. Признавая интересы своих собеседников, он должен искать компромиссные решения в переговорах с ними. В таких ситуациях приходится пересматривать привычную перекошенную этику полевой работы в сторону восстановления равенства прав исследователя и исследуемых в этом взаимодействии. Новый баланс далек от классического мира и покоя полевых пасторалей. Неслучайно исследователи из Обнинского проекта, столкнувшиеся с необходимостью согласования транскриптов для публикации (авторизации), не готовы назвать итоговые отношения со своими собеседниками «сотрудничеством»: слишком уж мало гармонии и согласия между участниками этого процесса [Kasatkina, Vasilyeva, Khandozhko 2018]. Но зато здесь значительно меньше пространства для патерналистски покровительственного отношения к исследуемым.

Защита данных

Еще один риск, который упомянули участники дискуссии, — это страх за собранные данные: «При мысли о задержании меня пугает возможность доступа полицейских к моим личным вещам: ноутбуку и телефону, — не в смысле страха за себя, а в смысле страха за информантов (фото с несогласованных митингов могут стать причиной заведения административных дел на них)», — говорит Ирина Козлова. Ей вторит Дарья Скибо: «В 2017 г., когда мы реализовывали проект, уже было множество историй об изъятиях ноутбуков и жестких дисков у журналистов. К сожалению, тогда я не владела дополнительными техниками шифрования и защиты данных».

Эти страхи не в последнюю очередь связаны с особенностями восприятия исследователя в поле (Дарья Скибо). Даже в тех сообществах, с которыми исследователь до какой-то степени разделяет язык и среду обитания, статус социолога или антрополога — человека, который наблюдает и расспрашивает, нуждается в прояснении. Поэтому многих исследователей беспокоит возможность сначала получить ярлык «шпиона» или «следователя», а затем нечаянно подтвердить его неосторожной работой с данными: «Можно быть принятой за другого в негативном смысле: за сотрудника центра “Э” или ФСБ в случае оппозиционных митингов или за агента иностранных спецслужб в случае митингов в поддержку действующей власти. При этом исследователь рискует, что его могут обозвать, “послать” куда подальше, что означает не получить информацию или получить заведомо ложную» (Ирина Козлова).

Исследователь, глубоко включенный в жизнь своего поля, подчас получает доступ к потенциально опасной информации и чувствует необходимость предпринимать меры для ее нейтрализации — защищать доступ к своим архивам, анонимизировать материалы в публикациях и т.д. Примечательно, что участники дискуссии видят здесь прежде всего свою личную моральную (не юридическую) ответственность, а не ответственность институции, которая поддерживает их работу и примет их материалы на хранение. Кто в конечном счете несет ответственность за судьбу материалов, привозимых из этнографических экспедиций? На этот вопрос многим исследовательским институциям еще предстоит ответить в связи с надвигающейся перспективой цифровой архивации полевых материалов.

Ответственность организаций и обучение

Тем не менее все согласны, что уже сейчас институции могли бы приносить реальную помощь с официальными договорен-

ностями (которые требуются, например, при исследовании таких закрытых современных полей, как школы, суды, медицинские учреждения), дорогостоящими страховками и вакцинацией. Однако подобные предложения помощи в работе с внешними рисками — редкость: в России выбор рискованного или сложного поля пока еще воспринимается как личное дело исследователя, который сам отвечает за свою безопасность и за соглашения с информантами. Напротив, в тех западных университетах, где исследовательскому проекту необходима виза комиссии по безопасности, наибольшее внимание оказывается привлечено к соблюдению формальностей, даже если конкретные сотрудники научного центра и готовы оказывать поддержку и помощь в случае форс-мажора.

«Многие международные фонды запрашивают такую информацию на этапе подачи заявки: они просят оценить, какие реальные риски (свободе, жизни, здоровью, иногда — репутации) возможны, и оставляют за собой право отказать в финансировании исследований, связанных с высокими рисками. Кроме того, многие мировые университеты запрещают своим студентам и аспирантам ездить в определенные поля — по тем же причинам. Определенные риски требуют дополнительных статей в бюджет» (Дарья Скибо).

Сосредоточенность на документарном сопровождении исследовательского проекта Елена Лярская и Штефан Дудек называют «бумажной безопасностью», подчеркивая, что защищает она вовсе не исследователя или информанта, а институцию. Именно научным центрам принадлежит решающая функция интерпретации правил, а это значит, что рекомендации и нормы будут трактоваться в пользу не конкретного исследователя, а бюрократии. Например, подписанное информированное согласие формально должно придать исследованию более прозрачный статус; отсутствие соответствующих бумаг ставит под вопрос этичность проекта и затрудняет обсуждение и публикацию результатов. Однако не имеем ли мы в этом случае дело с неокOLONIALНОЙ практикой? Ведь во множестве сообществ, далеких от англосаксонской судебной-юридической культуры, необходимость письменно заверять свое согласие может мешать работе и даже угрожать позиции исследователя в поле (Елена Лярская, Штефан Дудек). То же самое можно сказать и о документах, предоставляемых в комиссию по безопасности: получив необходимые бумаги, бюрократия часто оставляет молодого исследователя наедине со всеми его трудностями.

Возможным решением было бы не идти на поводу у бумажной безопасности, а опираться на ответственность, предварительную подготовку и здравый смысл (Глеб Стукалин, Елена Лярская,

Штефан Дудек). Эти выводы в какой-то степени напоминают о совете «не быть идиотом», который юный Эдвард Эванс-Причард получил от Малиновского перед первой поездкой в Африку [Evans-Pritchard 1973: 1]. Самой надежной страховкой в поле оказывается «социальная компетенция, умение “вписываться” в существующие в этом обществе системы предохранения от опасностей и конфликтов, максимально пригодные для этой конкретной среды» (Елена Лярская, Штефан Дудек). Тем самым речь идет о социальных аспектах науки: в ситуации взаимодействия с информантами, проводниками, коллегами (и далее — рецензентами, учениками, грантодателями) актуальным становится жизненный багаж, умение как соблюдать правила, так и уместным образом нарушать их. Эта особенность роднит антропологию с другими полевыми дисциплинами — от качественной социологии до приматологии и экологии. Их историк биологии Роберт Колер предложил объединить под зонтичным термином «науки соседства» (resident sciences), смысл и метод которых — в сопresутствии [Kohler 2019].

Однако, учитывая все более широкое распространение культуры безопасности, было бы важно включить обсуждение полевых рисков в программу обучения студентов. Правда, некоторые исследовательские и учебные форматы, предполагающие тестовый выход в поле, перестают быть возможными, и в обучении приходится от них отказаться в пользу аудиторных или онлайн-занятий. В свою очередь, недостаточность финансирования, с одной стороны, и страх перед полем — с другой, ставят под угрозу такой стандарт антропологической работы, как включенное наблюдение. Включенность, со-участие помещает человека в чужую среду, где он/она имеет изначально слабую позицию: заранее научить справляться с существованием в этой позиции очень трудно.

Елена Лярская и Штефан Дудек отмечают, что будущие антропологи начинают исподволь склоняться к методам, не требующим глубокого погружения (интервью) или же вообще непосредственного контакта (таким как цифровая этнография) в ущерб методам, которые не позволяют сохранить неприкосновенный статус, а зачастую вообще угрожают нашему физическому и эмоциональному благополучию. На профессиональном уровне такому же смещению способствует и неолиберальная система поддержки научных исследований, ориентированная на «горячие» результаты и быстрые публикации, которые медленные методы работы просто не могут обеспечить. Поэтому так важно обсуждать со студентами потенциальные риски и способы их преодоления:

«Я думаю, что механизмы преодоления рискованных ситуаций тоже должны быть продуманы: с кем и как контактирует ис-

следователь, если он в опасности, кто его контактное лицо в том месте, где он работает, и “на большой земле”? Есть ли доступ к связи, медикаментам, безопасному жилью, воде и продуктам питания в том месте, где он работает? Существуют ли специфические угрозы, связанные с полом, возрастом, политическими, религиозными или другими взглядами исследователя? Может ли его профайл быть “считан” как профайл чужака или врага? Может ли исследователь быть вовлечен в криминальные активности или стать жертвой сексуального насилия? Существует ли угроза физического насилия в поле? Может ли исследователь и его работа спровоцировать конфликт (например, внутри сообщества или между разными исследуемыми группами)? Эти и другие вопросы, возможно, и не требуют рассмотрения в каждом исследовании, но готовность думать о рисках и представлять, как будет выглядеть работа в поле, как мне кажется, важная часть навыков социологов и антропологов и в некотором смысле способ развить социологическое воображение» (Дарья Скибо).

Сейчас все эти вопросы возникают в лучшем случае на воркшопах по полевой этике, а во время образовательного трека на них всегда не хватает времени: «Опасности, которые раньше романтизировались и героизировались, сейчас мало обсуждаются или просто игнорируются, как будто столкновение с ними не общая проблема, а индивидуальное дело каждого» (Елена Лярская, Штефан Дудек). Предложение Дарьи Скибо включать протокол рисков в программу исследования, чтобы заранее все продумать и просчитать бюджет, кажется почти неосуществимым для аспирантских проектов в России. Но в силах научных и образовательных организаций обсуждать, как и ради чего могут рисковать студенты, пишущие диплом, аспиранты, готовящие диссертацию, и профессионалы, работающие по гранту, чтобы антропологи «учились думать о том, *при каких условиях* можно рисковать» (Елена Лярская, Штефан Дудек). Не последнюю роль в этом взвешивании рисков играет ответственный подход к своему здоровью, владение навыками первой помощи и умение формировать походную аптечку.

Могут ли в этой ситуации помочь профессиональные кодексы? Есть сомнения, что они могут предусмотреть все богатство ситуаций и дилемм: «Ни один из существующих в России профессиональных этических кодексов социологов не отвечает на вопросы, можно ли пить с информантами, вступать с ними в сексуальные отношения и т.д. Кодексы также не отвечают на вопросы, связанные с оплатой труда информантов, хотя эта тема тоже является и весьма чувствительной, и методологически укороенной» (Дарья Скибо).

Единственная практическая польза, которую могло бы принести официальное признание профессионального кодекса, — это защита от «привлечения к ответственности в случае “сокрытия” информации о совершенных участниками исследования преступлениях» (Дарья Скибо). Российские антропологи видят этический императив в том, чтобы защитить своих собеседников.

Моральные дилеммы

Основные моральные дилеммы, возникавшие в результате неудобных, неловких или неоднозначных ситуаций, заключаются для участников «Форума» во внутреннем конфликте ролей. Как одновременно быть исследователем и человеком с определенной политической или гражданской позицией? Как не погрузиться в поле до такой степени, что перестать быть исследователем и утратить необходимую дистанцию? Как развести для себя гражданское действие и аналитическую позицию? (Ирина Козлова, Андрей Возьянов, Глеб Стукалин). «Чем больше я погружаюсь в поле, а основное мое поле — это все-таки изучение оппозиционных акций, тем больше я начинаю сочувствовать информантам, вовлекаюсь в политический активизм и тем более становлюсь субъективной» (Ирина Козлова).

С одной стороны, политические эмоции открывают доступ к сгущенной социальности и пониманию, позволяют увидеть скрытые обязательства и предписания. С другой стороны, включенное наблюдение и гражданское участие представляют собой разные типы включенности, перемещаться между которыми трудно (см. также: [Hage 2010]): «В этой ситуации сложно отделить себя-этнографа от себя-протестующего и воздержаться от высказывания своих оценок ситуации там, где это может повлиять на решения людей» (Андрей Возьянов).

Другим вызовом оказывается само по себе предпочтение исследовательской работы в ситуации, которая действует мобилизующим образом. Трактовка этнографического исследования как роскоши, как возможности отрешиться и наблюдать говорит о моральной дилемме, сложном выборе между действием и аналитикой: «Могу и считаю ли допустимым я анализировать тексты и просить людей об интервью, в то время как множество моих знакомых выходит на акции протеста?» (Андрей Возьянов). Не меньшей моральной дилеммой оказывается необходимость компромиссов с государственными институтами и бюрократическими инстанциями, от которых зависит формальный доступ в поле. Эти размышления — повод задуматься о том, что исследователь открыт не только собеседникам и коллегам, но и государственным инстанциям.

Важный аспект рисков для исследования, создаваемый стремлением к максимизации безопасности и приводящий к непросто-му моральному выбору, — избегание неудобных тем, которые чреватые конфликтами или несогласием информантов. «В первую очередь это происходит там, где исследование может привлечь внимание к “неудобным” вопросам, которые ранее не обсуждались публично, или затронуть существующий в настоящий момент статус-кво. Всегда ли правильно избегать тем, по поводу которых в сообществе не существует консенсуса?» (Елена Лярская, Штефан Дудек). В таких случаях на воображаемых весах лежат доверительные отношения с информантами, статус в сообществе, доступ в поле — и проблемы фундаментального научного поиска. Как быть в таких случаях — и надо ли стараться их избегать? Как кажется, однозначного ответа на этот вопрос быть не может, как не может быть и однозначных указаний на этот счет в профессиональных кодексах.

Библиография

- Гаген-Торн Н.И.* Ленинградская этнографическая школа в двадцатые годы (у истоков советской этнографии) // Советская этнография. 1971. № 2. С. 134–145.
- Crapanzano V.* At the Heart of the Discipline: Critical Reflections on Fieldwork // Davies J., Spencer D. (eds.). Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience. Stanford: Stanford University Press, 2010. P. 55–78.
- Davies J., Spencer D.* (eds.). Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience. Stanford: Stanford University Press, 2010. 276 p.
- Evans-Pritchard E.E.* Some Reminiscences and Reflections on Fieldwork // Journal of Anthropological Society of Oxford. 1973. Vol. 4. P. 1–12.
- Hage G.* Hating Israel in the Field: On Ethnography and Political Emotions // Davies J., Spencer D. (eds.). Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience. Stanford: Stanford University Press, 2010. P. 129–154.
- Hammersley M.* On the Ethics of Interviewing for Discourse Analysis // Qualitative Research. 2014. Vol. 14. No. 5. P. 529–541. doi: 10.1177/1468794113495039.
- Hastrup K.* A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory. L.: Routledge, 1995. 232 p.
- Kasatkina A., Vasilyeva Z., Khandozhko R.* Thrown into Collaboration // Experimental Collaborations: Ethnography through Fieldwork Devices. N.Y.: Berghahn Books, 2018. P. 132–153.
- Kohler R.E.* Inside Science: Stories from the Field in Human and Animal Science. Chicago: University of Chicago Press, 2019. 264 p.
- Kvale S.* Interviews. An Introduction of Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks; L.; New Delhi: Sage, 1996. 344 p.

Luhrmann T. Persuasions of the Witch's Craft: Ritual Magic in Contemporary England. L.: Blackwell, 1989. 396 p.

Rager K.B. Self-Care and the Qualitative Researcher: When Collecting Data Can Break Your Heart // *Educational Researcher*. 2005. Vol. 34. No. 4. P. 23–27. doi: 10.3102/0013189X034004023.

Мария Пироговская, Александра Касаткина

Forum 48:

The Dangers of the Field: The Researcher's Perspective

This time, the “Forum” (a written round table) is dedicated to the topic of risks and dangers. In anthropology, discussions of danger in fieldwork are widespread, but the emphasis is almost always on risks to informants. The vulnerability of researchers themselves tends to be discussed solely in private. However, risks exist, and what is more, their nature and categories have been subject to evolution over time. In anthropology's early years, the key issue was physical survival in an unfamiliar environment. Once women began entering the profession, sexual harassment and violence became recognized threats (these risks also applied to men, of course; the point was, though, that they were far less often openly recognized as such). In the 1980s, new risks to the anthropologist began to emerge that were related to fieldwork in “high status” situations, where the objects of research enjoy access to far superior resources and opportunities than the researchers, and may have recourse to litigation if they object to the research findings. A further problem for university administrations can be work in milieux and communities that do not conform to accepted legal norms or represent “grey areas” relative to these. Finally, a challenge to researchers is also presented by the fact that their informants now also have a voice, as a result of the ever more collaborative and dialogic nature of anthropology as a discipline. The discussion initiated by the Editorial Board is intended not only to address the issues raised for field anthropology in a society where elevated safety concerns are ever present, but also to consider different aspects of risk in anthropological fieldwork of the present day.

Keywords: fieldwork, dangers, risks.

References

AAA Statement on Ethics 2012. <<https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber=22869&navItemNumber=652>>.

- Allemann L., Dudeck S., 'Sharing Oral History With Arctic Indigenous Communities: Ethical Implications of Bringing Back Research Results', *Qualitative Inquiry*, 2017, vol. 25, no. 9–10, pp. 890–906. doi: 10.1177/1077800417738800.
- Becker H. S., *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press of Glencoe, 1963. X+179 pp.
- Behar R., *The Vulnerable Observer: Anthropology That Breaks Your Heart*. Boston, MA: Beacon Press, 1997, 208 pp.
- Berger P., 'Assessing the Relevance and Effects of "Key Emotional Episodes" for the Fieldwork Process', Berger P., Berrenberg J., Fuhrmann B., Seebade J., Strümpell Ch. (eds.), *Fieldwork: Social Realities in Anthropological Perspectives*. Berlin: Weißensee Verlag, 2009, pp. 149–176.
- Crapanzano V., 'At the Heart of the Discipline: Critical Reflections on Fieldwork', Davies J., Spencer D. (eds.), *Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience*. Stanford: Stanford University Press, 2010, pp. 55–78.
- Daniels A. K., 'Self-Deception and Self-Discovery in Fieldwork', *Qualitative Sociology*, 1983, vol. 6, no. 3, pp. 195–214.
- Dating M. J. P., 'Mapping of Vector-Borne Disease (VBD) Hotspots in the Philippines: Constructing a Vector-Borne Disease Vulnerability Index using AHP'. <<https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/4.7.1%20Mapping%20of%20Vector-Borne%20Disease%20Hotspots%20in%20the%20Philippines%20Constructing%20a%20Vector-Borne%20Disease%20Vulnerability%20Index%20Using%20AHP.pdf?fbclid=IwAR2mYieP7PH57cT-VT1LvcclapPvmpedxTNd980f6J6eLalmUzrt4e0H4U>>.
- Davies J., Spencer D. (eds.), *Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience*. Stanford: Stanford University Press, 2010, 276 pp.
- Evans A., 'The Ethnographer's Body Is Gendered', *The New Ethnographer*, 2017, Feb. 14. <<https://www.thenewethnographer.org/the-new-ethnographer/2017/02/14/gendered-bodies-2>>.
- Evans-Pritchard E. E., 'Some Reminiscences and Reflections on Fieldwork', *Journal of Anthropological Society of Oxford*, 1973, vol. 4, pp. 1–12.
- 'Forum 2: The Research Object and the Subjectivity of the Researcher', *Forum for Anthropology and Culture*, 2007, no. 4, pp. 10–124.
- 'Forum 5: Fieldwork Ethics', *Forum for Anthropology and Culture*, 2007, no. 4, pp. 10–124.
- Gagen-Torn N. I., 'Leningradskaya etnograficheskaya shkola v dvadtsatye gody (u istokov sovetsoy etnografii) [Leningrad School of Ethnography in the 1920s (at the Origin of Soviet Ethnography)], *Sovetskaya etnografiya*, 1971, no. 2, pp. 134–145. (In Russian).
- Gentile M., 'Meeting the "Organs": The Tacit Dilemma of Field Research in Authoritarian States', *Area*, 2013, vol. 45, no. 4, pp. 426–432.
- Glasius M., de Lange M., Bartman J., Dalmasso E., Lv A., Del Sordi A., Michaelson M., Ruijgrok K., *Research, Ethics and Risk in the Authoritarian Field*. Cham: Springer, 2018, 122 pp.
- Goffman A., *On the Run: Fugitive Life in an American City*. Chicago: University of Chicago Press, 2014. 288 pp.

- Gurney J. N., ‘“Not One of the Guys”: The Female Researcher in a Male-Dominated Setting’, *Qualitative Sociology*, 1985, vol. 8, no. 1, pp. 42–62.
- Hage G., ‘Hating Israel in the Field: On Ethnography and Political Emotions’, Davies J., Spencer D. (eds.), *Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience*. Stanford: Stanford University Press, 2010, pp. 129–154.
- Haggerty K. D., ‘Ethics Creep: Governing Social Science Research in the Name of Ethics’, *Qualitative Sociology*, 2004, vol. 27, no. 4, pp. 391–414. doi: 10.1023/B:QUAS.0000049239.15922.a3.
- Hastrup K., *A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory*. London: Routledge, 1995, 232 pp.
- Huang M., ‘Vulnerable Observers: Notes on Fieldwork and Rape. What Does It Mean to Produce Knowledge through an Experience That Includes Trauma?’, *The Chronicle of Higher Education*, 2016, Oct. 12.
- Iphofen R., *Research Ethics in Ethnography/Anthropology. European Commission, DG Research and Innovation, 2015*. <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf>.
- Kantorovich V., ‘Nina Demme’ [Nina Demme], *Novyy mir*, 1936, no. 10, pp. 144–159. (In Russian).
- Kasatkina A. K., ‘Na Filipiny s lingvistami. Ekspeditsiya leta 2014 goda’ [To the Philippines with Linguists. Fieldwork of the Summer of 2014], Fedorova E. G. (ed.), *Materialy polevykh issledovaniy MAE RAN* [Field Materials of MAE RAS]. St Petersburg: MAE RAS, 2015, no. 15, pp. 260–279. (In Russian).
- Kasatkina A., Vasilyeva Z., Khandozhko R., ‘Thrown into Collaboration’, *Experimental Collaborations: Ethnography through Fieldwork Devices*. New York: Berghahn Books, 2018, pp. 132–153.
- Khan S., ‘The Subpoena of Ethnographic Data’, *Sociological Forum*, 2019, vol. 34, no. 1, pp. 253–263.
- Kohler R. E., *Inside Science: Stories from the Field in Human and Animal Science*. Chicago: University of Chicago Press, 2019, 264 pp.
- Kulick D., Willson M. (eds.), *Taboo: Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork*. London: Routledge, 1995, 300 pp.
- Kvale S., *Interviews. An Introduction of Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage, 1996, 344 pp.
- Lewis-Kraus G., ‘The Trials of Alice Goffman’, *The New York Times Magazine*, 2016, Jan. 12. <<https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html>>.
- Luhrmann T., *Persuasions of the Witch’s Craft: Ritual Magic in Contemporary England*. London: Blackwell, 1989, 396 pp.
- Mikhailova E. A., *Skitaniya Varvary Kuznetsovoy. Chukotskaya ekspeditsiya Varvary Grigoryevny Kuznetsovoy. 1948–1951 gg.* [Varvara Kuznetsova’s Evagations. Varvara Grigoryevna Kuznetsova’s Fieldwork among the Chukchee. 1948–1951]. St Petersburg: MAE RAS, 2015, 190 pp. (In Russian).

- Palmer C., Thompson K., 'Everyday Risks and Professional Dilemmas: Fieldwork with Alcohol-Based (Sporting) Subcultures', *Qualitative Research*, 2010, vol. 10. no. 4, pp. 421–440. doi: 10.1177/1468794110366800.
- 'Panel Discussion: Author Meets Critics', *Northwestern Journal of Law and Social Policy*, 2018, vol. 13, no. 3 ("Northwestern Law Interrogating Ethnography Conference"), pp. 107–137.
- Phadke S., "You Can Be Lonely in a Crowd": The Production of Safety in Mumbai', *Indian Journal of Gender Studies*, 2005, vol. 12, no. 1, pp. 41–62. doi: 10.1177/097152150401200102.
- Rager K. B., 'Self-Care and the Qualitative Researcher: When Collecting Data Can Break Your Heart', *Educational Researcher*, 2005, vol. 34, no. 4, pp. 23–27. doi: 10.3102/0013189X034004023.
- Schneider L. T., 'Sexual Violence during Research: How the Unpredictability of Fieldwork and the Right to Risk Collide with Academic Bureaucracy and Expectations', *Critique of Anthropology*, 2020, vol. 40, no. 2, pp. 173–193. doi: 10.1177/0308275X20917272.
- Schramm K., "You Have Your Own History. Keep Your Hands Off Ours!" On Being Rejected in the Field', *Social Anthropology*, 2005, vol. 13, no. 2, pp. 171–183.
- Stanyukovich M. V., 'Abstract of the Final Report on the Fieldwork in the Philippines in 1994–1995 Funded by the Small Grant of the Wenner-Gren Anthropological Foundation', *Biannual Newsletter of the Wenner-Gren Anthropological Foundation*. New York: S. n., 1996, p. 209.
- Stanyukovich M. V., 'Kalendar ekspeditsii na Filippiny 1994–1995 gg.' [The Calendar of Fieldwork in the Philippines, 1994–1995], Fedorova E. G. (ed.), *Materialy polevykh issledovaniy MAE RAN* [The Materials of Field Studies in Anthropology]. St Petersburg, 1998, no. 4, pp. 66–72. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., 'Obzor poslednikh shesti ekspeditsiy na Filippiny (2008–2013) i kratkikh polevykh vyezdov vo vremya raboty v Yaponii (2010)' [A Survey of the Last 6 Expeditions to the Philippines (2008–2013) and of Short Field Trips during my Work in Japan (2010)], *Radlovskiy sbornik: Nauchnye issledovaniya i muzeynye proyekty MAE RAN v 2013* [Radlovskiy Sbornik. Research and Museum Projects of MAE RAS in 2013], St Petersburg: MAE RAS, 2014, pp. 418–428. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., 'Polevye metody v ekspeditsiyakh na Filippiny: obshchiy yazyk i kak s nim borotsya [Field Methods in Fieldwork in the Philippines: Common Language and How to Struggle with It], Arkhipova A. S., Nekludov S. Yu., Nikolaev D. S., Rychkova N. N. (comps.), *Metody i kontseptsii v folkloristike i kulturnoy antropologii (konets XX — nachalo XXI veka)* [Methods and Concepts in Folkloristics and Cultural Anthropology (Late 20th — Early 21th Century)]: Materials of the 16th International School-Conference on Folkloristics, Sociolinguistics and Cultural Anthropology. Moscow: RSUH, 2016, pp. 71–73. (In Russian).
- Stanyukovich M. V. 'Epos i obryad: obzor polevykh materialov po pokhoronnomu skazaniyu Yattuka, zapisannomu na Filippinakh v fevrale 2012 g.' [Epic and Ritual: A Survey of Field Materials on the Funeral Chant of the Yattuka, Recorded in the Philippines in February 2012],

- Fedorova E. G. (ed.), *Materialy polevykh issledovaniy MAE RAN* [The Materials of MAE RAS Field Studies]. St Petersburg: MAE RAS, 2017, no. 17: To the memory of E. A. Alekseenko, pp. 191–212. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., ‘Polevaya rabota daleko i blizko: voprosy verifikatsii’ [Fieldwork in the Vicinity and Far Away: Issues of Verification], Naumova Yu. N., Petrova N. S., Rychkova N. N. (comps.), *Nauka kak protsess: verifikatsiya znaniya i/ili yazyki opisaniya* [Research as a Process: Verification of Knowledge and/or Languages of Description]: A collection of abstracts and materials of the 18th international school-conference. Moscow: RSUH, 2018, pp. 141–145. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., ‘Plyaski plodorodiya: Tserkov’ Presvyatoy Devy rybolovnoy seti, Tantsuyushchego sv. Paskhaliya i sv. Klary Assizskoy na Filipinakh i yeyo yazycheskoye naslediyе’ [Fertility Dance: The Church of Our Lady of a Fishnet, of Dancing St Pascual and of St Clara of Assisi (the Philippines) and Its Ancient Pagan Heritage], *RSUH/RGGU Bulletin. Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies*, 2020, no. 5, pp. 112–139. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., Feodorov R. V., ‘Neotlozhnaya polevaya etnografiya Yugo-Vostochnoy Azii. Sever Kambodzhi i yug Filipin’ [Urgent Anthropological Field Work in Southeast Asia. The North of Cambodia and the South of the Philippines], *Kunstkamera*, 2018, no. 1, pp. 109–121. (In Russian).
- Stanyukovich M. V., Kozintsev A. G., ‘Krestiki i noliki = kroliki. O nekotorykh elementakh taynogo yazyka pokhoronnykh skazaniy yattuka, Filipiny’ [Nuns and Rabbits = Habits. On Some Elements of the Secret Language of the Yattuka Funeral Chant, Philippines], *Radlovskiy sbornik*. St Petersburg: MAE RAS, 2016, pp. 267–275 (In Russian).
- Tannen D., ‘Blame the Victim?’, *Anthropology Newsletter*, 1986, vol. 27, no. 8, pp. 2–2. doi: 10.1111/an.1986.27.8.2.3.
- White W. F., *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*. Chicago: University of Chicago Press, 1943, XXII+284 pp.
- Zavisca J., ‘Etika polevoy raboty v etnografii’ [Ethics in Ethnographic Fieldwork], *Antropologicheskij forum*, 2006, no. 5, pp. 169–193. (In Russian).